

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



Я-СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА

ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ
1938





К-29



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Я — СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА

ПОВЕСТЬ

Рисунки Д. ШМАРИНОВА

**Центральный Комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1938 Ленинград**

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая</i> — Бомбардир-наводчик	5
<i>Глава вторая</i> — Фрося	7
<i>Глава третья</i> — Нерушимое слово	11
<i>Глава четвертая</i> — Хозяин	13
<i>Глава пятая</i> — Соседи	15
<i>Глава шестая</i> — Вечерка	19
<i>Глава седьмая</i> — Богатая невеста	24
<i>Глава восьмая</i> — Солдатское лихо	26
<i>Глава девятая</i> — Семнадцатый год	28
<i>Глава десятая</i> — Вольноопределяющийся Самсонов	32
<i>Глава одиннадцатая</i> — Фельдфебель	36
<i>Глава двенадцатая</i> — Конец войны	39
<i>Глава тринадцатая</i> — У плетня	41
<i>Глава четырнадцатая</i> — Сваты	45
<i>Глава пятнадцатая</i> — Непрошенные гости	47
<i>Глава шестнадцатая</i> — Зарученье	51
<i>Глава семнадцатая</i> — Жених	54
<i>Глава восемнадцатая</i> — Змовины	56
<i>Глава девятнадцатая</i> — Новый работник	61
<i>Глава двадцатая</i> — Сон	63
<i>Глава двадцать первая</i> — В Балте на базаре	65
<i>Глава двадцать вторая</i> — Розгляды	69
<i>Глава двадцать третья</i> — Казнь	73
<i>Глава двадцать четвертая</i> — Золотое оружие	81
<i>Глава двадцать пятая</i> — Четыре чарки	86
<i>Глава двадцать шестая</i> — Повстанцы	89
<i>Глава двадцать седьмая</i> — Под красные знамена	95
<i>Глава двадцать восьмая</i> — Венчанье	98
<i>Глава двадцать девятая</i> — Суд	105
<i>Глава тридцатая</i> — Зиновий Петрович	110
<i>Глава тридцать первая</i> — Шел солдат с фронта	114
З а к л ю ч е н и е	116

ДЛЯ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Редактор Э. Болотина. Худож. редактор В. Пахомов. Техредактор Я. Тышкевич.
 Корректоры Н. Тарасова и Е. Балабан. Сдано в производство 21/III 1938 г.
 Подписано к печати 16/IV 1938 г. Индекс Д-9. Детиздат № 1669. Уполномоченный
 Главлита Б-42293. Формат 82 × 110¹/₃₂. 7¹/₂ п. л. (6,5 уч.-авт. л.). Заказ 426. Тираж 86500.

Фабрика детской книги Изд-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ.
 Москва, Суцешский вал, 49.



Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина подымает освободительную *отечественную* войну, — таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине.

И. СТАЛИН

(«Украинский узел». «Известия ВЦИК» № 47,
14 марта 1918 г.)

ГЛАВА I

БОМБАРДИР-НАВОДЧИК

Шел солдат с фронта. На войну уходил молодым канониром, возвращался в бессрочный отпуск бомбардир-наводчиком. На руках имел револьвер, наган солдатского образца, штук десять к нему патронов и бевут — кривой артиллерийский кинжал в шагреневых ножнах с медным шариком на конце.

Это казенное оружие было перечислено в демобилизационном удостоверении за голубой батареейной печатью с куцым орлом Временного правительства (без короны, державы и скипетра), отслужившим свой недолгий срок.

Кроме того, подхватил еще наш батареец на всякий случай по дороге драгунскую винтовочку и пару ручных гранат-лимонок.

Сунув на глаза папаху из телячьих лапок, в аккуратной шенелке, раздутой в бедрах, маленький и бойкий, шел Семен Федорович Котко по замерзшей к вечеру степной дороге, подкидывая спиной ранец, туго набитый всякой всячиной.

Давно бы уже следовало ему сделать привал: переобуться и скрутить папиросу из крупно нарезанного румынского тютюна¹. Но каждый шаг приближал его к дому. А дома он не был больше четырех лет.

Чем ближе к родному селу, тем проворнее двигались ноги. Места становились знакомее. Последние восемь верст не шед солдат, а почти бежал.

Револьверный шнур морковного цвета болтался на груди. Подошвы горели.

В небе стоял ледяной месяц с острой звездой, которая, казалось, слетела с него вбок да так, на лету, и вмерзла в синий воздух, не достигнув земли. Февральский ветер, поднявшийся к ночи, с сухим шелестом пролетел в кукурузной ботве.

Скоро слышался собачий лай. Показались хаты. Семен узнал длинную кузю. Вязка подков висела на костыле, вбитом в облупленную стену, голубую от лунного света. Он обогнул знакомую коновязь, обгрызанную лошадьми. Знакомая телега со снятыми дробинами стояла среди знакомого двора в косой тени мазанки.

Солдат остановился и перевел дух. Затем с детскими ужимками он подобрался на цыпочках, стукнул в темное окошко и тотчас отскочил в сторону, прижавшись ранцем к стене. Он расставил руки и задрал подбородок. Не в силах вздохнуть от волнения, он закусил небритую губу. Загадочная улыбка остановилась на его круглом лице с крепко зажмуренными глазами. Сердце стучало в ключицы.

Четыре года он предвкушал эту шутку. Четыре года снилось ему: вот он возвращается с фронта домой, вот он подбирается на цыпочках к родной мазанке и стучит в родное окно; мать выходит из хаты и спрашивает: «Кто там? Чего надо?» Она сердито смотрит на незнакомого солдата, а он по-походному, грубо и весело, кричит: «Здорово, хозяйка! Принимай на ночлег героя-артиллериста, георгиевского кавалера! Вынимай из печки галушки или что там у вас есть в казане! Бомбардир-наводчик хочет исты!» Она невесело смотрит на него и все-таки не узнает. Тогда он вытягивается во фронт, прикладывает руку к головному убору и отчетливо рапортует: «Ваше высокоблагородие, так что из действующей армии сего числа прибыл в бессрочный отпуск Семен Федорович Котко, ваш

¹ Т ю т ю н — табак.

законный сын. Накрывайте на стол, давайте борща, и больше никаких происшествий не случилось!» Мать вскрикнет, схватится за грудь, повиснет на шее у сына, — и пойдет веселье!

Но из хаты никто не выходил. Остатки высохшего снега мерцали вокруг села, как слюда. Вдруг брякнула щеколда. Дверь открылась. На пороге стояла высокая костлявая женщина в домотканой спиднице¹ и суровой рубахе, раскрытой на жилистой шее.

Без страха и удивления она посмотрела на солдата, притаившегося в тени.

— Кого надо? — сказала она простуженным голосом. Звук материнского голоса коснулся солдатского сердца, и сердце остановилось.

Солдат выступил из тени, обеими руками снял папаху и виновато опустил стриженую голову.

— Мамо, — сказал он жалобно.

Она посмотрела на него пристально и вдруг положила руку на горло.

— Мамо, — сказал он еще раз, рванулся, обхватил ее костлявые плечи и вдруг, прижавшись носом к рубахе, от которой пахло сухой овчиной, заплакал, как маленький.

ГЛАВА П ФРОСЯ

Семен Федорович выспался наславу. Уже было позднее утро, когда он открыл глаза. Но что за странное пробуждение для солдата: проснуться от жары! Яркий солнечный свет смешивался с розовыми отблесками печки, затопленной сухими кукурузными кочанами. Стеклам тоже было жарко — они потели.

Семен Федорович скинул с себя ситцевое одеяло, чересчур большое, тяжелое и плоское, как галушка. Старая еловая кровать затрещала. Бедная хата была наполнена превосходными солдатскими вещами.

Одежда и оружие занимали стены и подоконнички, так что за ними скрылась вся домашняя утварь: сита, часы-ходики, картинки, восковые пасхальные писанки.

¹ С п и д н и ц а — юбка.

«Ишь, чего только может нанести с фронта домой один солдат! — не без хвастовства подумал Семен Федорович, опоминаясь ото сна. — Полная хата вещей! Да еще полный ранец!»

Между тем девочка лет четырнадцати, по-бабьи повязанная коленкоровым платком, откуда ее лицо выглядывало, как из фунтика, в теплом мужском пиджаке рыжего домотканого сукна и громадных чоботах, уже давно с дерзким любопытством смотрела из-под руки, как на солнце, то на Семена Федоровича, то на раскиданные повсюду солдатские вещи.

Солдат заметил девочку. С некоторым недоумением он рассматривал ее.

— Тю! — вдруг воскликнул он с радостным изумлением. — А я смотрю и думаю: что это за такая кукла? Откудова она взялась? А это, оказывается, наша Фроська! Смотри ты, как выросла... Ну? Чего ж ты молчишь, сестричка? Язык скушала? Да ты Фроська или вовсе не Фроська? Отвечай, как полагается по уставу!

— Фроська, — сказала девочка смело, ничуть не смущаясь тем, что разговаривает с солдатом.

— Где ж ты была вчера, что я тебя не заметил?

— А на печке. Вы меня не бачили, зато я вас бачила. Вы — кавалер?

— А, чтоб тебя! Кавалер! — захохотал Семен. — Такая малявка, а уже понимает, что за такое кавалер... Где ж это ты видишь, что я кавалер?

— У вас на груди крест, — сказала девочка, подходя к солдатской гимнастерке, раскинутой рукавами врозь на столе. Она потрогала крестик, пришитый к карману. — Беленький. Без бантика. Значит, четвертой степени. Георгиевский. Скажете — нет? Ой, что это! Накажи меня бог — драгунская винтовка! — продолжала Фрося болтать, не обращая внимания на брата.

Он смотрел на нее во все глаза, дивясь тому, как она выросла за эти четыре года: уходил на войну — была совсем маленькая, незаметная; возвратился — и на тебе: высокая, ничего не стесняется, с дерзкими глазами (как у той козы), а главное, понимает солдатские дела, — хоть замуж выдавай!

— Дивитесь, — говорила девочка, переходя от вещи к вещи, — дивитесь, сколько богатой справы! Бачьте — какие сапоги: юфтовые, и головки совсем ще целые!

А нож какой кривой! Артиллерийский. Скажете — нет? Ух ты, а ранец! Тяжелый. Двумя руками не подынешь. Целый чемодан. Что в нем такое?

— Не касайся до ранца.

— Та я ж не касаюсь. Я только побачу и положу на место.

— Ой, Фроська, заработаешь по рукам!

— Ни. Вы меня с кровати не достанете.

— А ну, где мой пояс с медной бляхой? Он достанет.

— Нема вашего пояса с медной бляхой, — хохотала девочка: — я его на горище¹ закинула!

— Ну тебя к чорту, на самом деле! Положь ранец. Хочешь хату подорвать, чи шо? Может, в этом ранце ручные гранаты лежат, откуда ты знаешь?

— Лимонки или бутылки? — быстро, с живым любопытством спросила Фрося, не выпуская из рук ранца.

Солдат всплеснул руками.

— Что вы скажете? — ахнул он. — Лимонки или бутылки! Где это ты научилась понимать? Допустим, что лимонки. Ну?

— Я знаю! Лимонку сначала надо об такую маленькую терочку чиркнуть, а без того она все равно не подорвется. Скажете — нет?

— А вот я тебя сейчас чиркну по одному месту, — пробормотал Семен и вдруг выскочил из постели с проворством, которого никак нельзя было угадать по его лицу — блаженному и слегка опухшему от долгого и счастливого сна.

Но Фрося оказалась еще быстрее и проворнее брата. В мгновение ока со страшным визгом она шмыгнула в сени, — платок упал с головы и повис на крепком маленьком плечике, только довольно длинная тугая коса, заплетенная ситцевой лентой, мелькнула перед носом Семена.

Из темноты сеней на солдата смотрели блестящие глаза, круглые и настороженные.

— А вот не споймаете!

— Очень мне это надо, — с напускным равнодушием сказал Семен.

Он хитрил. Ему до страсти хотелось поймать нахаль-

¹ Г о р и щ е — чердак.

ную девчонку и шлепнуть ее для примера, чтобы она имела уважение к воинскому званию.

Но он хорошо понимал — нахрапом тут ничего не выйдет. Надо действовать осторожно.

Не обращая внимания на Фросю, он озабоченно прошелся по хате, как бы разыскивая какую-то нужную ему вещь. Он даже нарочно отошел как можно подальше от двери и копался на подоконничке, чтобы усыпить всякие подозрения.

— Все равно не споймаете, — слышался сзади Фроськин голос.

Он покосился через плечо. Нахальная девочка стояла уже одной ногой в хате, держась на всякий случай за щеколду, чтобы в любой момент захлопнуть дверь перед самым носом брата.

— Очень мне это надо, — бормотал он, неторопливо перебирая вещи, а самого так и подмывало кинуться и схватить девчонку.

— А вот все равно не споймаете.

— Очень надо. Захочу, так споймаю. Вот сейчас надену сапоги и шаровары, возьму в руки пояс...

— Ни!

— Тогда побачишь.

Семен лениво потянулся к шароварам и вдруг, сделав страшное лицо, кинулся за Фроськой. Но она уже, как ветер, мчалась через сени. Упало коромысло, загремели ведра. Брякнула щеколда наружной двери. Солдат не сдержался и, как был, в бязевых кальсонах, выскочил во двор и побежал босиком по мокрой, холодной земле, ослепительно сверкавшей под сильным солнцем февральской оттепели.

Несколько любопытных дивчат и бабенок с ведрами, уже с утра околачивавшихся возле хаты, чтобы посмотреть на вернувшегося с войны мужчину — котковского Семена, — с визгом кинулись в разные стороны, притворно закрываясь платками и крича на всю улицу:

— Чорт, бесстыдник! Ратуйте, люди добрые! Караул!

Семен заслонился рукой от солнца. Ему показалось, что среди бегущих дивчат одна, в короткой черной жакетке и сборчатой юбке, особенно часто оглядывается, особенно громко хохочет и особенно стыдливо закрывается концом розового платка с зелеными розами, блестя из-под него черными, как вишни, глазами.

И вдруг все его широкое, добродушное, с мелкими чертами лицо пошло бурым солдатским румянцем. Он схватился за распахнувшийся ворот, стыдливо подтянул кальсоны и, погрозив Фроське кулаком, рысью побежал в хату.

— А что, споймали? — раздался с улицы Фроськин голос.

ГЛАВА III

НЕРУШИМОЕ СЛОВО

«Кто ж это был: Соня или не Соня?» размышлял Семен, рассматривая в зеркальце свой неделю не бритый подбородок. Намылив самодельным алюминиевым помазком щеки, он задумался: оставлять усы или не оставлять? Усы, если сказать правду, были неважные. Редкая рыжеватая щетина. Росли они только по краям рта. Под носом же ничего не росло. Так что можно было свободно сбрить. Но, с другой стороны, георгиевский крест и воинское звание безусловно требовали усов. Усы для бомбардир-наводчика были такой же необходимой принадлежностью, как две белые лычки¹ — одна поперек, другая вдоль погона. И хотя погоны Семен спорол давно, еще на позициях, но расставаться с усами не хотелось.

— Только усы не режьте, пускай остаются, — жалобно сказал из сеней Фроськин голос. — У всех у наших у солдат, которые *повозвращались с фронта, отросли усы.

— Ты опять тут?

— Тут.

— Чего ж ты прячешься? Заходи в хату.

— Хитрые!

— Ничего, заходи.

— А вы будете биться?

— Не буду.

— Перекреститесь.

— А если я в бога не верю?

— Ни. Верите.

— Откудова ты знаешь?

¹ Лычки — нашивки.

— Вот знаю. Которые с артиллерии — те чисто все в бога веруют, а которые с пехоты или же с Черноморского флота матросы — те все чисто не верят.

— Смотри на нее: все она знает. А, например, с кавалерии или же с инженерных войск, то те как: верят или не верят?

— Те — я не знаю. С кавалерии и с инженерных у нас еще не возвращалось.

Разговаривая таким образом с братом, Фрося мало-помалу вошла в хату и доверчиво остановилась совсем недалеко от него, глядя во все глаза и наслаждаясь увлекательным зрелищем бритва.

Ловко вывихнутая бритва сверкала в руке Семена, разбрасывая вокруг себя по хате зеркальных зайцев. Лезвие осторожно очищало с подбородка мыло. Под ним обнаружилась чистая, до красноты натертая кожа.

Девочка склонила набок голову и, затаив дыхание, прислушалась.

— Слушайте.... Не слышите? Все равно, как сверчок.

— Что?

— А бритва. Верещит. Тонюсенько-тонюсенько. Как сверчок. Скажете — нет?

— Это, наверное, у тебя в носе сверчит.

Фрося фыркнула и сконфузилась.

Некоторое время она молчала, переминаясь с ноги на ногу. Ей уже давно надо было сказать брату одну вещь. Но вещь эта была такая важная и секретная, что девочке все никак не удавалось среди шутливости разговора кинуть нужное словечко. Кроме того, мешала мать, которая не отходила от печи, стряпая сыну добрый борщ из кислой капусты, пшена и свинины. Но вот она вышла из хаты за салом.

Фрося завернула руку за спину, подошла вплотную к брату и подергала себя за рыжую косу. Рыжие брови ее строго нахмурились. Вокруг пухлого рта сошлись морщины оборочкой, как у старухи.

— Слышь, Семен, — быстро сказала она, косясь на дверь, — посылает тебе один человек поклон, — а какой человек, ты сам знаешь, — и пытается тебя той человек, какие дальше твои думки? Будешь ты посылать до нее сватов или не будешь? Или, может, ты уже забыл про того человека вспоминать?

Дернулась бритва в руке у Семена.

— А чтоб тебя! — сердито сказал он. — Гавкаешь под руку глупости. Свободно мог порезаться!

Сердце его горячо ёкнуло. Он изо всех сил наморщил лоб, старательно вытирая бритву бумажкой.

— Передашь тому человеку, — сказал он, глядя в сторону, — что, может, она забыла про меня вспоминать, а я про нее никак не забыл и мое слово как было, так и есть — нерушимое.

Фрося важно кивнула головой. Но вдруг, в один миг, лицо ее стало хитрым и оживленным, как у старой деревенской сплетницы. Она припала к плечу брата и жарко зашептала в самое его ухо, на котором шурша сохло мыло:

— Приходи сегодня на вечерку в хату до Ременюков; только не до тех Ременюков, которых баштан коло баштана Ивасенко, а до тех Ременюков, у которых двух сыновей на фронте в пехоте убило, которых хата сейчас за ставком¹. Сегодня очередь Ременюковой Любки. Там можешь встретить того человека. Гроби у тебя е, чтоб дивчат пряниками угощать?

— Гроби найдутся.

— Не надо. Я смеюся. С демобилизованных дивчата ничего не берут.

А уже в хату входила мать, на вытянутых жилистых руках подавая сыну вынутый из сундука праздничный утиральник, богато вышитый в крестик черной и красной бумагой.

ГЛАВА IV

ХОЗЯИН

Давненько не ел Семен такого густого и горячего борща с красным перцем, с чесноком, с хорошей картошкой. Серый плетеный хлеб из чистой пшеничной муки грубого помола показался ему вкусней белых румынских булок.

От сала трудно было оторваться. Сало это специально хранилось для него с прошлой пасхи, когда в последний раз кололи кабанчика. Густо посыпанное крупной солью и завернутое в полотняную тряпку, оно было закопано глубоко в землю и в таком виде могло лежать, не портясь,

¹ Ставок — пруд, озеро.

хоть три года. От долгого лежания в земле оно только становилось нежным, как масло.

Какое наслаждение было делить его толстый мраморный брус на тонкие ломти, счищая походным ножиком землю и соль и срезая твердую кожу, желтоватую и полупрозрачную!

Добре наевшись и запив обед кружкой чаю внакладку, — в ранце у Семена нашлась и заварка и порядочная торба колотого сахара, — солдат встал из-за стола, поклонился низко матери, — мать тоже низко ему поклонилась, как хозяину, — кинул на плечо ватную стеганую телогрейку, которая опять-таки нашлась у него все в том же ранце, и вышел во двор хозяйновать.

Конечно, сегодня он мог бы и погулять. Но обычай требовал в первый день не отлучаться со двора. По этому признаку общество отличало человека достойного и положительного.

До этого дня Семен еще никогда не чувствовал себя хозяином вполне. Хотя батька умер года за два до войны, но оставался еще крепкий дед, который вместе с матерью — своей дочерью — свободно управлялся в кузне. А ему было семьдесят с лишним лет.

Вот это был человек, так человек! Высокий, сухой, — все зубы на месте, — он шутя мог пронести на плечах из конца в конец через все село два мешка пшеницы, по пяти пудов каждый. И если бы в начале войны его не ударила в грудь гусарская лошадь, которую он ковал, то жить бы ему да жить. Но удар оказался чересчур сильный. Дед стал кашлять кровью, слег да так уже и не встал. На второй год войны его похоронили, и кузню заперли на замок.

Земли не было. Скота не было. Приходилось кое-как перебиваться. Не случись в семнадцатом году Октябрьская революция — неизвестно, чем бы кончилось дело.

Теперь же дела поправились. Землю, взятую осенью у помещика Клембовского, общество разделило поровну между всеми незаможными¹ дворами, и вдове Котко отрезали полоску десятин в шесть — по две десятины на душу. Из запасов того же помещика Клембовского земельный отдел помог семенами, а при дележе скота дал лошадь, корову и трех овец. Так что теперь две десятины

¹ Незаможный — нищий, бедняцкий.

были засеяны озимой пшеницей, а остальные четыре дожидались Семена, как он решит — сажать ли на них подсолнух, поднимать ли баштан, или целиком пустить под овес и жито.

Все эти новости мать не торопясь рассказала Семену за обедом, и теперь, выйдя во двор, он с удовольствием принялся осматривать свое хозяйство.

Прежде всего он отправился в сарай, где помещалась новая лошадь. Ему не терпелось посмотреть на кобылу, которая еще так недавно стояла в барской конюшне и хрустела барским ячменем, а теперь стоит в сарайчике бедняка бомбардир-наводчика Семена Котко и понятия не имеет, на какую работу поставят ее завтра: пахать ли бывшую землю помещика Клембовского под овес, или запрягаться в подводу и ехать на речку за очеретом для новой крыши. Семен уже успел заметить, что крыша на хате порядком подгнила и не мешало бы ее перекрыть заново.

Новая кобыла очень понравилась Семену. Она оказалась гораздо лучше, чем он предполагал. Он потрогал ее за нежный, бархатный хвост, погладил под брюхом и тут же пожалел, что не сообразил захватить с собой с батареей щетку и скребницу. Корова оказалась так себе. От помещицкой коровы можно было ожидать большего.

Что касается овец, то две из них только что обьягнились. Семен подобрал с соломы тяжеленького курчавого ягненка с костяными копытцами и твердой, как бы из дерева точеной мордочкой, широко улыбаясь, подул ему в нос и закричал хозяйственно:

— Эй, мамо, надо будет, чтобы вивцы ночевали в хате, а то еще, не дай бог, ягняточки померзнут!

ГЛАВА V

СОСЕДИ

Семен отомкнул кузню. Здесь было темно и холодно. Наковальню покрывала могила старого, обледеневшего снега, нанесенного в трубу.

Семен потянул за ржавый дрот. Тяжко заскрипела, вздохнула тугая гармоника мехов. Ветер дунул по очагу,

подняв тучу золы. Нищенский запах холодного железа и каменного угля наполнил кузню. Сразу стало печально и скучно. Семен машинально перекрестился и вышел, осторожно притворив за собой дверь — широкую, как ворота.

Тут, возле двери, должен был лежать жернов, знакомый с детства. И верно: жернов лежал на своем месте. И тотчас Семен вспомнил, как интересно бывало летом, хорошенько натужившись, приподнять этот жернов с травы и заглянуть, что под ним делается. А под ним всегда кишел и копошился целый мир каких-то бесцветных, прозрачных червячков, личинок, букашек и бледно прорастали жалкие, лишенные солнечного света корешки и травинки, такие же бесцветные, как и эти червячки.

Сейчас, хотя уже начиналась весна, камень еще крепко вмерз в землю. Стало опять печально и скучно.

Но яркий февральский день был так прелестен, — он весь казался вылитым из чистейшего льда: синий в тени и текучий, сверкающий на солнце, — что Семен веселым командирским взглядом окинул свой двор и, заметив посередине двора смерзшуюся кучу навоза, которому здесь было не место, взялся за вилы.

Отвыкнув от настоящей полезной работы, — ведь не работа же для человека, на самом деле, все время ездить и ездить со своим орудием по чужим полям, копать блиндажи и, припав глазом к панораме, торопливо искать точку отметки, а потом, по команде орудийного фейерверкера: «Третье, огонь!», дергать за шнур и отскакивать от оглушившей и ослепившей пушки, — отвыкнув от настоящей полезной работы, Семен с удовольствием поднимал вилами легкие пласты навоза и переносил их за сарайчик.

Иногда он останавливался и, вытирая рукавом лоб, думал: «Нет, за такого самостоятельного человека можно смело отдать наикрашую дивчину на селе!» Эта дума и подогревала его в работе.

Выпуклые глаза девушки, черные и блестящие, как вишни, ее сморщенный от улыбки носик не выходили у него из ума. Чем ниже склонялось солнце, тем настойчивей становились думы Семена. Нетерпеливое беспокойство схватило его.

Между тем с улицы к плетню то и дело подходили соседи повидаться с Семеном. Этого также требовал обычай. Подходили не торопясь на согнутых ногах один за другим старики, любопытные, как бабы, в просторных

ватных пиджаках, просаленных, вытертых до глянца, и в лохматых бараньих шапках, насунутых на лохматые брови. Переложив стариковскую палку из правой руки в левую, они протягивали Семену через плетень сложенную дощечкой черствую руку и говорили, сочувственно кивая: «Семену Федоровичу», или «Нашему кавалеру», или «Бог помощь».

Не выпуская из рук вил, Семен подходил к плетню, где набоку стояла исправная борона с зубьями, увешанными глечиками¹, и здоровкался с людьми, отвечая на вопросы и восклицания. Отвечать требовалось бойко, за словом в карман не лезть, в чем также был признак человека самостоятельного и своегого.

— Григорию Ивановичу, — отвечал Семен старикам, снимая папаху и почтительно кланяясь. — Дал бог побачиться. Взаимно и вам, Кузьма Васильевич.

Подходили бабы, любопытные, как старики. Их приветствия были не так церемонны и простосердечны и содержали в себе порядочную порцию женского перца: «Здравствуйте, Семен Федорович! Очень приятно вас видеть. Слава богу, что вы наконец возвратились. Мы уже думали, что вы как погнались за немцем, так доси бегаете. А это, говорят люди, он за вами бегаёт. Ну, слава богу». — «С приездом. Что вы так мало на фронте крестов заслужили?» — «Кавалер, где твои погоны?»

— Никак нет, — мелкой скороговорочкой отгрызался он от баб. — Зачем мне казенные патроны даром за немцев расходовать, когда лучше дома на печке по внутреннему врагу, по бабах, крыть прямой наводкой? Мне там на позициях давали ще один крест, только деревянный, а я не схотел. А погоны я на табак поменял у одного дурня.

Старые деревенские приятели-сверстники, по большей части уже давно успевшие «демобилизироваться» из армии и вернуться в село, выставляли из-за плетня солдатские груди, увешанные знаками отличия, заломив походные фуражки, а некоторые были в желтых стальных французских касках, — они первым делом протягивали кисеты или жестяные коробочки с табаком и бумажкой. Только скрутив вместе с Семеном по цыгарке, затаившись и сплюнув, они приступали к приветствиям и расспросам: «Здоров, годок. Как дело?» — «Что слышать на позициях?»

¹ Глечик — глиняный кувшин.

Окончательно замирились или щё стреляют?» — «Ты какой части, шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, чи шо? Я, как раз, восьмого гаубичного. Зимой шестнадцатого мы рядом с вами стояли на Вилейке под Сморгонью. Только вы по правую сторону от дороги, а мы по левую, аккуратно на повороте за деревней Бялы». — «Не слышал там, Ленин щё заправляет делами?» — «Керенского щё не споймали?»

— Здоров, земляк, — отвечал Семен годкам своим. — Наша дела — лишь бы хата цела. По приказу верховного главнокомандующего ровно с двенадцатого сего февраля полное замирение по всем фронтам и полная демобилизация действующей армии. Первой батареей шестьдесят четвертой бригады, и зимой шестнадцатого года, верно, стояли под Сморгонью по правой стороне дороги, коло самого березового лесочка. За Ленина слышать, что он сидит на своем старом месте, заправляет всеми делами и увольняться по чистой не интересуется. А гадюку Керенского так-таки и не споймали, потому что ему англичане фальшивый литер выпускали, и он с тем фальшивым литером теперь ездит по всем железным дорогам, передетый или в женщину, или в гимназиста.

Мальчишки, подталкивая друг друга, жались у плетня и кричали придушенными голосами:

— Дядя Семен, чи вы не большевик?

— Дядя Семен, у вас нема какого-нибудь патрона чи старой люминиевой фляжки? Позычьте¹ нам!

— Е для вас добрый ремешок с медной бляхою на конце! — кричал Семен мальчишкам, притворно сердясь. — А ну, голота, отойдите мене от плетня и не балуйте, а то нарву уши!

И мальчишки с топотом разбегались во все стороны, только из-за углов хат торчали красные носы да блестящие любопытные глаза.

Наконец настал вечер.

¹ Позычить — одолжить.

ГЛАВА VI ВЕЧЕРКА

Шел на убыль февраль, а вместе с ним кончалась и зима. Какая-нибудь неделя, не больше, оставалась до первого весеннего месяца марта.

Чуя впереди тяжелые работы в степу, хлопцы и дивчата торопились досыта нагуляться. Каждый день то в одну хату, то в другую собирались они на вечерку.

Сегодня держать хату был черед Любы Ременюк. Она дополнила налила керосином, заправила и засветила большую висячую лампу с двенадцатилинейным стеклом, чисто-начисто подмела мазаный пол, расставила скамейки, убрала из хаты лишнее, а сама, в будней юбке и кофте, скромно села за пряжку.

Под нажимом ноги плавно тронулось деревянное колесо — замелькали точеные спицы. Проворные пальцы уцепили кудель. Побежала из-под пальцев ссученная нить. И, вися на конце этой тоненькой нити, шибко закрутилось верстено, то опускаясь до самого пола, то волшебю поднимаясь к играющим, будто намагниченным пальцам.

Скоро стали собираться дивчата. Они рассаживались вдоль стѣн и, сбросив с плеч платок, тотчас вынимали из-за пазухи какое-нибудь рукоделье, начатое еще поздней осенью и специально предназначенное для работы на вечерках.

Издавна повелось, чтобы дивчата на вечерках не сидели без дела. Здесь каждая могла щегольнуть перед хлопцами своим мастерством и предстать перед избранником в лучшем виде.

Едва только последняя девушка вошла в хату, как за окошком послышался вкрадчивый и вместе с тем небрежный перебор гармоник. В стекло легонько стукнули. Несколько мужских лиц мелькнуло снаружи. Но девушки в хате и бровью не повели, как будто все это их никак не касалось. Глаза были холодно опущены к рукоделью, лбы прилежно наморщены, и только одна, общая для всех, еле уловимая усмешка пролетала по лицам, мимолетно трогая край то одного, то другого ротика.

За окошком послышалось шушуканье, приглушенный смех. Дверь осторожно приоткрылась. В нее вдвинулось сначала плечо с широким ремнем гармоник, а потом и стриженная лобастая голова в матросской фуражке на за-

тылке. Матрос, как лисица, повел по сторонам конопатым носом.

Девушки не удостоили его ни одним взглядом, целиком поглощенные работой.

— Ноль внимания, фунт презрения, — многозначительно заметил матрос, мигая хлопцам, напившим сзади из сеней.

Девушки оставались равнодушными. Матрос двумя руками снял фуражку и льстиво раскланялся.

— Разрешите до вас зайти?

— Заходите, если вам интересно, — ледяным тоном ответила хозяйка, не глядя на матроса, и пожала плечом, заодно поправив им сползающий платок. — Мы свою хату ни от кого на замок не запираем.

Она презрительно сложила жесткие губы и так энергично пожала ногой рейку, что колесо захлопало, закудахтало.

Тени спиц понеслись одна за другой по белой стене мазанки.

— Очень приятно, — сказал матрос.

Он опять мигнул хлопцам, видимо, собираясь отпустить по адресу высокомерных дивчат какое-нибудь особенно ядовитое замечание. Но не успел. Сзади на него напали, поддали коленком, и гурьба нетерпеливых кавалеров с молчаливым смущением вступила в хату.

Когда явился Семен, вечерка была в разгаре. Правда, дух чинного, даже несколько чопорного присутствия все еще царил в хате. Однако кое-кто из кавалеров, наскучив подпирать плечом стенку, подсел, как бы нечаянно, на самый краешек скамьи, шепча своей красавице всякие секреты. В свою очередь и дивчата уже не так прилежно следили за иглой, протыкавшей толстую бумажную канву, и уже не на одном рассеянно уколоте пальце висела смородинка крови. Общее строгое молчание нарушилось. Хлопцы лениво перебрасывались с дивчатами как бы незначительными замечаниями, за которыми иной раз угадывалось столько скрытой игры, что многие щеки уже горели жгучим до слез румянцем.

Даже сама рассудительная хозяйка хаты Любка Ремешок позабыла на минуту свою прядку, прижалась плечом к матросскому бушлату и сидела так, с бледным очарованным лицом, полузакрытыми глазами и блуждающей улыбкой, точно нанюхалась дурману, машинально переби-

рая дрожащими пальцами георгиевские ленты матросской фуражки.

Семен остановился у двери, незаметно отыскивая глазами ту, ради которой сюда пришел. Но первая, кого он увидел, была... Фроська. Это было так удивительно, что в первое мгновение ему даже показалось, не обознался ли он. Как? Сестра Фроська!

...Два белых гуся, качаясь, идут один другому в затылок, а за ними поспекает босиком по колючкам голенастая девчонка с длинным прутом березы в руке. Под носом запачкано, на голове торчит косичка, тонкая, как мышиний хвост. Именно такой сохранилась в представлении Семена Фроська... И вдруг — на тебе! Сидит теперь эта самая Фроська на вечерке среди взрослых дивчат-невест, такая важная, глазом не сморгнет... Тю, чорт, подросла как!

А Фрося и вправду сидела в большой ситцевой кофте, с гребенкой в волосах, и с чрезмерной серьезностью четырнадцатилетней невесты старательно подрубала большой старинной иглой мужскую рубаху.

Мало того. Рядом с ней, неловко сложив на коленях длинные руки, сидел лохматый хлопец лет восемнадцати в белой свитке, — видать, не успевший попасть под мобилизацию, — и тревожно смотрел в сторону.

При виде этого Семена разобрал такой смех, что он топнул сапогом, воскликнул: «А чтоб вас!» и уже собирался отпустить насчет Фроськи подходящее замечание, как вдруг слово застряло у него в горле. Вылетели из головы всякие шутки. Он увидел Софью.

Девушка искоса следила за ним из-под выпуклых век вишневыми глазами. Маленькая ямка дрожала на одном краю натянутых губ, чуть открывших чистые зубы — тесные, как зерна молодой кукурузы.

Четыре года думал солдат об этой встрече. Теперь он стоял в замешательстве, не зная, как себя держать.

Хлопцы многозначительно покашливали. Дивчата украдкой бросали на Софью красноречивые взгляды. Фроська поглядывала на брата с нежным, но лукавым сочувствием.

Софья с досадой повела плечом, медленно залилась румянцем и закрылась рукой с наперстком, делая вид, что поправляет на лбу волосы. Богатый рушник тонкого городского полотна, который она вышивала по канве шелком, скользнул с колена.

Семен готов был пропасть. Но в это время матрос, который знал все на свете не только матросские, но и солдатские песни, тронул гармонику и запел подходящую к случаю артиллерийскую:

Раз ко мне пришел
Артиллерист и речь такую мне завел:
«Здравствуй, милая моя.
Вот скоро кончится война...

И вечерка продолжалась как ни в чем не бывало.

Но вот хозяйка зевнула, посмотрев на лампу. Дивчата спрятали за пазуху рукоделье и стали одна за другой выходить из хаты. Следом за ними лениво, сохраняя достоинство, потянулись и хлопцы. Это был долгожданный миг проводов до дому, законная возможность побыть наедине.

Хлопец и дивчина встречались в темных сенях. Слышался скорый шопот. Через минуту две тени, обнявшись, уже шли по темной улице.

Наконец вслед за другими поднялась со своего места и Софья. Она прошла близко мимо Семена, мелко переступая в козловых башмачках и опустив небольшую красивую голову. Он посмотрел на нее. Она мимолетно опустила веки. Он подождал для приличия минутку и не торопясь вышел за ней в сени. Она ждала его.

Невидимые в темноте руки обхватили его за плечи. Голова в платке прижалась к солдатской груди.

— Ой, Семен! — прошептал обесиленный голос. — Ой, Семен, любый мой, целый, не убитый!

Далеко за полночь ушел блестящий по-зимнему месяц. Спала деревня. Семен провожал Софью. Бережно прижавшись друг к другу под артиллерийской шинелью внакидку, держась за руки, шли они по безмолвной улице, медленно, будто ослепли.

Семен, притаив дыхание, вел девушку с осмотрительной нежностью по обледеневшим колеям улицы.

И все же он не был спокоен. Привычное сомнение смущало его горделивую радость. Согласится ли Ткаченко отдать за него дочку? Не отступит ли от своего слова? Но для того, чтобы понять все эти сомнения, надобно знать, кто таков был Ткаченко и почему боялся Семен отказа.



Спала деревня. Семен провожал Софью.

ГЛАВА VII
БОГАТАЯ НЕВЕСТА

Ткаченко принадлежал к тому типу крестьян, которые, будучи однажды призваны в солдаты, быстро привыкали к солдатской жизни, находили в ней выгоду и не скоро возвращались домой, добровольно оставаясь на сверхсрочную службу лет на пять-десять, а то и на все пятнадцать. В свое время Ткаченко был призван в артиллерию, окончил действительную службу в звании бомбардира, на сверхсрочную перешел младшим фейерверкером, за русско-японскую войну получил два георгиевских креста, третью нашивку и, таким образом, незаметно превратился в господина взводного, строгого службиста, правую руку своего офицера и грозу батарейцев, словом, в то, что называется — шкура.

Раз или два в год приезжал он на побывку в село, где у него была жена и хата. Он привозил с собой все накопленное в батарее жалованье и с толком вкладывал его в хозяйство. А денег каждый раз было рублей восемьдесят-девятьносто. Деньги по деревенской жизни — громадные. Жена его, простая, бедная баба, — он взял ее сиротою, — которую в первые годы его сверхсрочной службы все очень жалели, вдруг к собственному удивлению оказалась одной из самых богатых хозяек села. Теперь уже люди ей завидовали и ее уважали. Но она, кроткая, неграмотная и чистая сердцем, никак не могла привыкнуть к своему новому положению, да вряд ли его как следует и принимала.

Она продолжала ходить так же просто и даже бедно, так же работала не разгибая спины и в доме своего мужа скорее казалась наймичкой, чем хозяйкой. Она мужа любила и боялась, как существа высшего. Он ее снисходительно терпел. У них родилась дочь. Он прислал из части письмо, приказав окрестить девочку в честь жены командира дивизиона Софией.

Девочка росла, воспитываемая матерью, в простоте и любви. Отец для нее был тоже существом высшим. Накануне войны ей исполнилось шестнадцать лет. Два года она уже считалась невестой и гуляла с Семеном.

Хотя он был беден, а она богата, препятствий не предвиделось. Мать Софьи была рада выдать дочку за хорошего, работающего человека.

Сговорившись с девушкой и разузнав сторожей о настроении ее матери, Семен уже было решил послать сватов. Но как раз в это время на побывку присхал сам Ткаченко, только что произведенный в фельдфебели. Он узнал о предстоящей свадьбе и пришел в ярость.

В его планы никак не входило выдавать единственную дочь за бедняка. Наоборот. Он давно уже мечтал породниться с кем-нибудь побогаче, повыше, купить через банк хороший, большой хутор, уволиться наконец из части и стать если не помещиком, то во всяком случае вроде того.

Он велел передать Семену, что переломает ему руки и ноги, если когда-нибудь увидит его около своей хаты, жену обзвал старой макитрой, а дочку хотел добре перетянуть по лопаткам ножнами новой фельдфебельской пашки — и даже уже замахнулся, — но, увидев ее красивые черные глаза навывкате, круглые от испуга, пожалел свое дитя, налился кровью и закричал страшным голосом непонятное, но явно оскорбительное слово: «Хивря!»

В ближайший же праздник, надев полную парадную форму, при пашке, крестах и оранжевой медали за трехсотлетие дома Романовых, фельдфебель лично повез невесту на базар в Балту. На низко склоненной голове девушки был надет батистовый чепчик с числом, вышитым малиновыми нитками. Число это показывало, сколько рублей дается в приданое за невестой. Таков был старинный сельский обычай, от которого не пожелал отступить Ткаченко.

Базар ахнул. Обычно на чепцах местных невест скромно значилось 35, 50, много — 75. Цифра 100 вызывала почтение. Вокруг 150 собирались любопытные, и об этом толковали потом целый год. На чепце Софьи крупной школьной прописью было вышито 300.

Народ столпился вокруг новой зеленой повозки с рессорной колыской, расписанной розочками. Слезы смущенья и обиды текли по пунцовым щекам девушки. А отец стоял перед повозкой, как перед своей батареей, ни на кого не глядя, и, по-фельдфебельски отставив ногу в вытяжном сапоге со шпорой, тремя пальцами разглаживал темные усы.

СОЛДАТСКОЕ ЛИХО

Но честолюбивые мечты не сбылись. Ударила всеобщая мобилизация. Ткаченко срочно отбыл в часть. Началась война. Семена забрали. Он тайно простался с Софьей, плакавшей у него на плече. И случилось так, что попал он именно в ту самую артиллерийскую бригаду, в тот самый дивизион и даже в ту самую батарею, где был фельдфебелем Ткаченко.

Тут, очутившись на позициях, да еще под властью своего врага, Семен узнал, почему фунт солдатского лиха.

С того самого дня, когда Ткаченко, заложив руку за пояс, впервые прошелся перед фронтом батареи и с недоброй усмешкой покосился на вытянувшегося из всей мочи канонира Котко, и вплоть до семнадцатого года не было часа, когда бы Семен не чувствовал на себе подавляющей власти фельдфебеля.

Ткаченко назначал его в самые тяжелые наряды — на земляные работы, на рубку леса. Он взыскивал с него за малейшее упущение. Часто приходилось Семену выстаивать под ранцем с полной походной выкладкой. Еще чаще назначали его не в очередь на кухню чистить картошку, что считалось работой хотя и легкой, но унижительной.

К счастью для себя, Семен не пал духом и не опустился. Иначе бы он пропал. Наоборот. От природы настойчивый и смысленный, он понял, что ему остается одно: тянуться. Он так и сделал. Скоро он стал, несмотря ни на что, одним из самых исправных солдат батареи.

Между тем Ткаченко продолжал идти в гору. За бои в Восточной Пруссии он получил георгиевский крест второй степени. За Августовские леса — первой.

В конце пятнадцатого года, после отступления, под Молодечно состоялся царский смотр. Батарейцам выдали новые шинели. Маленький бородатый полковник в полном походном снаряжении, с белым крестиком на груди, пропустил мимо себя армейский корпус. Крича «ура» и не слыша собственного голоса, Семен мельком увидел над лошадиной мордой желтое лицо с узкими глазами в лучистых морщинах. Лицо было знакомое — точь-в-точь как на полтиннике.

После смотра посыпались награды. На батарею пришлось десять крестов. Командир бригады, торопливо обхо-

дя фронт, пришпилил Семену «Георгия», похлопал его по рукаву и сказал: «Молодец!» Семен был в недоумении. Однако он поднял подбородок и крикнул: «Рад стараться, ваше превосходительство!»

В этот же день Ткаченко произвели в подпрапорщики. Он надел на солдатскую пашку офицерский темляк, вставил в папаху офицерскую кокарду и нашил на погоны широкий золотой басон.

Это был предел, выше которого нижний чин подняться уже не мог.

Таким образом Ткаченко превратился из господина фельдфебеля в господина подпрапорщика. Новое звание окончательно отделило его от солдат, ничуть не приблизив к офицерам. Ткаченко перестал курить деревянную люльку с жестяной крышечкой и перешел на дешевые папиросы. Вместо спичек он стал пользоваться зажигалкой, сделанной из патрона. У него завелся собственный холуй вроде денщика, которого он взял из обоза второго разряда.

Война продолжалась.

Однажды в шестнадцатом году под Сморгонью, проходя по батарее, Ткаченко увидел Семена. Семен сидел на корточках перед небольшим костром, в котором калился шрапнельный стакан. В этом стакане плавилась немецкие алюминиевые дистанционные трубки. Семен отливал из алюминия ложки.

Ткаченко незаметно остановился за спиной Семена, рассматривая весь этот маленький литейный двор с земляными формами и готовыми ложками, белыми и ноздреватыми, остывавшими рядом в песке. Вокруг никого не было. Пользуясь затишьем, батарейцы занимались каждый своим делом: кто стирал белье, кто играл в скракли¹, кто писал письмо на самодельном пашечном столике, вбитом в землю возле орудия, обсаженного елочками маскировки.

Розовый майский вечер просвечивал сквозь молодую зелень столетних берез вдоль знаменитого Смоленского шоссе, по которому некогда двигалась армия Наполеона. С тугим жужжанием пролетал иногда над ухом майский жук, и, как бы отзываясь ему, издали доносилось слабое стрекотанье немецкого аэроплана, летевшего с разведки.

¹ С к р а к л и — городки.

— Хозяйство делаешь? — спросил Ткаченко.

Семен вздрогнул и вскочил, вытянувшись перед фельдфебелем. Ткаченко прищурился, погладил тремя пальцами усы и не торопясь прошелся мимо Семена туда и назад, как перед фронтом. Наконец он остановился боком и отставил ногу.

— Ну что, Котко, — трогая ребром руки козырек фуражки, сказал он, насмущно усмехаясь: — выбросил ты уже из головы или еще не выбросил?

— Не могу знать, господин подпрапорщик, — ответил Семен, опуская глаза.

Ткаченко помолчал. Его худощавое мускулистое лицо с лилово-сизым румянцем выразило зловещую задумчивость.

— Как хочешь. Твое дело. Помни.

Ткаченко не торопясь подошел к орудию Семена, открыл затвор и заглянул в дуло.

— Так. Очень приятно. На два пальца грязи. Возьмешь четыре наряда не в очередь.

— Слушаюсь, господин подпрапорщик! — молодежато крикнул Семен, вычистивший свое орудие керосином не больше часа назад.

Скоро начались солдатские отпуска. Нижние чины по очереди уезжали домой на двадцать один день. Перебы вала на побывке вся батарея. Но Семен так и не дождался очереди.

Кончалось лето шестнадцатого года.

ГЛАВА IX

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

Шел третий год войны. Бригаду бросали с фронта на фронт. Всюду гремели бои. Леса вдоль Вилейки были выжжены на пятнадцать верст удушливыми газами. Они стояли сухие и желтые, как осенью.

За Барановичами, под Двинском и дальше до самой Риги целыми неделями, без передышки, тряслась земля. По ночам над брошенными, гибнущими полями висело скалистое зарево ураганного огня.

По раскаленным улицам Черновиц, перегоняя обозы,

мчались грузовики с резервами наступающего Брусилова¹. Дорна-Ватра гремела молниями.

Пыльные сливы висели в садах Буковины.

В августе Румыния вступила в войну. Русский корпус переправился через Дунай и быстро прошел через всю Добруджу. Уже с наблюдательного пункта артиллеристы видели за кукурузными полями и балтанами минареты болгарского города Базарджик.

Но тут превосходными силами ударил Макензен². Все смешалось. Немецкие самолеты проносились бреющим полетом над открытыми степными дорогами, расстреливая из пулеметов походные колонны. Старинные румынские пушки, запряженные волами, вязли в грязи. Немцы брали их голыми руками. Осенняя луна холодно освещала валившиеся в кукурузе раздутые трупы и раскиданную амуницию.

Неподвижные чабаны в высоких бараньих шапках, с высокими посохами в руках, стояли, окруженные овцами, возле каменных колодцев, круглых, как жернова. Они равнодушно смотрели на армию, в беспорядке кочующую по степи.

Водянистое солнце слабо светило на желтую листву, устилавшую подножья буков.

Непроглядная осень висела над Дунаем. Сквозь пресный речной туман еле-еле виднелись зубчатые отроги Карпат. Оттуда слышалась канонада. Конец войны не было видно. «Из терпенья вышла окопная мука солдата», писал зимой Семен на село, матери. В конце февраля в Петрограде восстали рабочие. Царь отрекся от престола. Солнце сверкало в льющихся ручьях. Синее небо, отражаясь в медных трубах полковых оркестров, выглядело зеленым.

Откуда взялось столько шелковых красных бантов и кумачевых полотниц! Комиссары Временного правительства — солидные штатские господа в хороших драповых пубах и каракулевых шапках — в сопровождении секретарей разъезжали по обозам первого разряда митинговать. Возбужденные солдаты не спали по ночам и толковали

¹ Брусиллов — генерал, командовавший в империалистическую войну юго-западным фронтом русской армии.

² Макензен — германский фельдмаршал, игравший большую роль в империалистической войне.

в блиндажах о земле и мире. Семен ходил, одуревший от нетерпения. Всем казалось, что война кончена.

Первое время Ткаченко был весьма смущен. Он еще не мог сообразить, выгодно это все для него или невыгодно. Но скоро понял, что вернее всего — выгодно. Отменяя сословные привилегии, революция открывала для него возможность стать офицером.

Он надел на грудь красный бант. Его выбрали в батальонный комитет.

Весна прошла в дурмане. Наступало лето. Измученные солдаты с минуты на минуту ожидали мира. Вместо этого Керенский объявил о наступлении. Маршевые роты с развернутыми красными знаменами прибывали из запасных частей на фронт.

Опять появились комиссары Временного правительства. Теперь это были патлатые крикуны в пенсне и крагах, с морскими кортиками вместо шапек, увешанные биноклями и полевыми сумками. Их сопровождали вольноопределяющиеся батальонов смерти с черепами на рукавах.

Они пробирались в окопы по ходам сообщения, кланяясь пальным пулям, задевая плечами углы и поднимая страшную пыль.

В то лето батарея стояла в Румынии, за Яссами, под высотой 1001. День и ночь по узкоколейке катились вагонетки с огнеприпасами. В склоне горы были вырыты погреба, тесно заставленные ящиками с французскими тротильовыми¹ гранатами и зажигательными бомбами. Саперы бетонировали площадки для дальнобойных орудий Виккерса. В пехотных окопах минометы устанавливались сотнями.

Зной жег перекопанную землю.

В дивизию приезжал сам Керенский, по-итатскому сутулый, — висячий нос бульбой, — в суконном английском картузе с отсегнутым козырьком, с большой рукой в замшевой перчатке, прижатой к нагрудному карману френча; он стоял в штабном автомобиле, окруженный любопытными солдатами. Глубоко разевая бритый рот, он сипло кричал на них, именем свободы и революции требуя наступать.

Он кричал по крайней мере полчаса. Солдаты молча слушали. Некоторые устали стоять и сели на землю.

¹ Т р о т и л — взрывчатое вещество большой разрушительной силы.

Во время длинной паузы, когда Керенский, опираясь здоровой рукой о красный погон шофера, обводил слушателей медленным взглядом «гражданина и вождя», вдруг раздался хотя и смущенный, но вместе с тем довольно бойкий голос, произнесший тульским говорком:

— В роте спрашивают: замиренье-то скоро выйдет? А то домой надо.

Керенский быстро оборотился и увидел коротенького пехотинца в большом французском шлеме, из-под которого торчали загнутые детские уши, черные от румынской пыли снаружи и особенно внутри. Он смиренно сидел по-турецки в первом ряду на выгоревшей траве.

— Молотить пора, — разъяснил он соседям.

В толпе раздался смешок. Зацыкали.

— Ничего нет смешного, — сказал кто-то ворчливо, — все интересуются. Молотить надо.

А пехотинец продолжал сидеть как ни в чем не бывало и, задрав замурзанное лицо, простосердечно смотрел на главковерха, жмурясь от солнца.

— Товарищи солдаты! — очнувшись, закричал Керенский. — Свободные граждане! Братья! Революция дала вам крылья. История вложила в вашу руку меч. Вы победите. Но среди вас есть предатели, для которых личное благополучие дороже великих идеалов свободы. Вот один из них! — Главковерх раздраженным жестом протянул здоровую руку к пехотинцу, который уже не рад был, что ввязался в разговор с начальством. — Вот один из этих предателей. Скажите мне сами: что сделать с этим человеком? Предать революционному суду? Расстрелять на месте, как изменника?

Солдаты молчали, чувствуя неловкость.

Керенский повернулся и посмотрел в упор на пехотинца.

— Ступайте! — крикнул он вдруг, делая трагический жест.

— Никак нет, — жалобно проговорил солдатик, вставая и складывая руки лодочками по швам.

— А я вам приказываю именем революции: ступайте! Ступайте домой. Я лишаю вас высшего звания — солдата русской армии. Вы свободны.

Пехотинец топтался с ноги на ногу, растерянно вертя головой по сторонам. А главковерх уже опять обводил митинг «гражданским» взглядом.

— Может быть, здесь есть еще трусы? В таком случае пусть они все уходят домой. Они свободны. Мы с презрением отворачиваемся от них. Революции не нужны предатели. Уходите же!

И тут произошло нечто до такой степени неожиданное, что Семен долго потом не мог очухаться. Рядом с ним стоял немолодой канонир Биденко, ничем не замечательный, многосемейный и малограмотный, молчаливый ездовой. Во все время, пока Керенский митинговал, лицо его было мучительно сморщено, как у больного. Вместе с тем он жадно прислушивался к каждому слову. Было похоже, что он несколько раз порывается что-то сказать. Когда же Керенский произнес последние слова: «Революции не нужны предатели. Уходите же!» и сделал паузу, Биденко вдруг застонал, странно оскалился, плюнул и, сказав довольно громко: «А нехай они все с тою войною идут у болото», как был в стеганой телогрейке и с недоуздкой в руке, повернулся пропотевшей спиной и ушел пешком с позиции домой, в Херсонскую губернию.

ГЛАВА X

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ САМСОНОВ

Восьмого июля вечером началась артиллерийская подготовка. Свыше ста батарей легкой и тяжелой артиллерии работало в течение трех суток без перерыва на небольшом участке одной дивизии. Солдаты оглохли. Три дня земля была покрыта тяжелым, как ртуть, удушающим дымом. Три ночи молнии не сходили с неба. Проволочные заграждения немцев были начисто уничтожены ураганным огнем. На рассвете одиннадцатого вдруг наступила полная тишина. Пехота вышла из окопов. В последнем порыве, страшном в своем молчании, русские войска ворвались в первую линию баварских окопов. Вторую линию заняли через двадцать минут. Немцы бросали батареи. Вспаханное снарядами поле было покрыто трупами рослых баварцев в тельных сетках под расстегнутыми мундирами. Офи лежали в разных позах, уткнувшись в развороченную землю, пахнущую жженым гребнем. Каски в

серых чехлах и тесаки валялись всюду. Русские прорвали третью линию и стали окапываться. Но в это время по ним с правого фланга вдруг ударило шрапнелью. Это было совершенно неожиданно, а главное — необъяснимо. В первое мгновение всем даже показалось, что батарейцы не успели перенести огонь вперед и случайно бьют по своим. Из дыма рвущихся снарядов раздался крик отчаяния. Сигнальные ракеты полетели вверх. Но огонь не прекращался. С каждой минутой он становился сильнее. Цепи, лежавшие на открытом месте без прикрытия, пришли в смятение. Снаряды летели неизвестно откуда. Они ложились точно, за один раз уничтожая целые взводы. Пехота побежала и смешалась с резервами. Почти сейчас же к ним присоединились батареи, менявшие в это время позиции. Беспорядочное скопление людей, лошадей, зарядных ящиков, пушек и санитарных двуколок, окутанных черным дымом взрывов, представляло ужасное зрелище. Никто ничего не понимал. Прапорщики бегали среди солдат, размахивая револьверами. Началась паника, которую не скоро удалось остановить. Тем временем немцы подтянули резервы и ударили в контратаку. Бойня продолжалась пять суток без передышки. Шестнадцатого июля все было кончено. Русские и немцы, обессиленные, стояли друг против друга на исходных позициях. Впоследствии выяснилось, что произошло. Произошло следующее: в то время, когда русская пехота пошла в наступление и заняла три линии немецких окопов, рядом румынская дивизия задержалась и тем самым обнажила правый фланг русских. Этим воспользовалась неприятельская артиллерия и сбоку, почти сзади, ударила по русским. Высшее же командование не учло этого, растерялось и не приняло никаких мер. Неслыханными потерями заплатили солдаты за глупость генералов.

С начала войны не было в батарее Семена столько раненых и убитых. Два орудия и четыре зарядных ящика разнесло в щепки. Восемь батарейцев остались лежать неподвижно, как куклы, в черных шароварах и хороших сапогах, припав восковыми щеками к черствой румынской земле. Двенадцать человек, наскоро перевязанных розовыми индивидуальными бинтами, увезли санитарные двуколки. О пехоте нечего и говорить. Ее потери были страшны. В иных батальонах уцелело всего несколько человек.

Требовались пополнения. Они приходили туго. Маршевые роты разбегались по дороге на фронт. Части пополнялись без всякого плана — кем попало. Главным образом это были возвращавшиеся из госпиталей раненые и молодежь последнего призыва. Они приносили с собой грозные требования тыла. В частях объявилось множество большевиков.

Личный состав батареи резко изменился. Она имела совсем не тот вид, что месяц назад. Офицерам больше не доверяли. Их ненавидели. Ненавидели всех, желавших продолжать войну.

Из госпиталя в батарею неожиданно вернулся раненный в шестнадцатом году вольноопределяющийся, из студентов, Самсонов, любимец солдат. Он вернулся с обритой головой, худой и возмужавший, слегка опираясь на палочку. Его юношески голубые глаза дерзко улыбались. Он небрежно явился к фельдфебелю и тотчас отправился в палатку команды телефонистов-наблюдателей, по спискам которой числился младшим фейерверкером.

Всю ночь в палатке горела большая керосиновая лампа, та самая, которую хозяйственные телефонисты раздобыли еще в конце пятнадцатого года в залитых окопах второго гвардейского корпуса. Слышались смех, говор и дрымбанье балалайки. Никто во всей бригаде не мог соперничать с вольноопределяющимся Самсоновым в игре на этом инструменте. Раза четыре кипятили на костре и заваривали знаменитый ведерный чайник телефонистов, добытый все в тех же окопах гвардейского корпуса под Сморгонью. Вся батарея побывала в гостях у вольноопределяющегося, всем хотелось послушать тыловые новости. И было чего послушать. Где только не побывал Самсонов за это время: и в Москве, и в Петрограде, и в Одессе.

На другой день вся батарея только и говорила, что о большевиках и о Ленине. Последними словами ругали Керенского. По рукам ходила партийная газетка «Солдат».

Ткаченко вызвал к себе вольноопределяющегося, заложил руку за пояс, отставил ногу и долго молчал, пронзительно всматриваясь в его юное лицо своими красивыми карими, почти черными глазами. Вдруг он налился кровью и закричал:

— Вы здесь кто такой, чтоб агитировать на батарее?

— А вы кто такой?

Ткаченко немножко подумал.

— Председатель батарейного комитета.

— Я вас не выбирал.

— На пятнадцать суток!

— Меня?

Самсонов стиснул зубы и сделался белый.

— У меня на руках мандат армейской военной организации большевиков.

Он вырвал из наружного кармана гимнастерки четверо сложенную бумагу и протянул подпрапорщику.

— Наденьте очки, если вы неграмотный.

Слово «очки» в применении к нему и студенческие глаза вольноопределяющегося привели фельдфебеля в ярость. Но он подавил ее.

— У нас на батарее пока, слава богу, большевики еще не командуют, — сказал он и подмигнул столпившимся вокруг солдатам: видали, мол, гуся? Но никто не улыбнулся.

На другой день батарейный комитет был переизбран. Теперь его председателем стал Самсонов. В резолюции, принятой большинством, говорилось: «Мы, собравшиеся четвертого сентября солдаты второй батареи, заявляем, что будем стоять: 1) за немедленное оглашение тайных договоров, 2) за немедленные переговоры о мире, 3) за немедленную передачу всех земель крестьянским комитетам, 4) за контроль над всем производством, 5) за немедленный созыв советов. Мы, артиллеристы, хотя и не принадлежим к партии большевиков, но за все требования и лозунги будем умирать вместе с ними».

Хотя, правду сказать, Семену не хотелось умирать вместе с кем бы то ни было, а больше всего на свете хотелось жить и ехать домой, все-таки он с удовольствием поднял вверх руку, ставшую от солнца табачного цвета, и долго держал ее над фуражкой. Ткаченко смотрел на него с ненавистью. Командир бригады подал рапорт о болезни и уехал с фронта. За ним последовали многие офицеры.

Наступила осень четвертого года войны.

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ

В лесах металась гнилая листва. Черная ночь, полная дождя и ветра, висела над фронтами. По дорогам, в размокших обмотках, шли дезертиры. Прячась в шумящих кустах, солдаты подбирались к офицерским землянкам и подслушивали у окон.

Изредка ухал орудиейный выстрел.

Однажды ночью в дивизии восстал полк. Солдаты не захотели идти из резерва в окопы. Командир корпуса приказал окружить их и расстрелять из пулеметов. Пулеметная команда отказалась.

В три часа ночи на батарею явился в плаще с капюшоном капитан — командир батареи. За ним шел старший офицер — поручик. Фельдфебель освещал им дорогу электрическим фонариком.

— Батарея, к бою! — скомандовал старший офицер.

Номера выскочили из землянок и, дрожа под дождем, бросились к орудиям. Капитан поднес к глазам карту в целлулоидной рамке. Фельдфебель осветил ее фонариком. Капитан справился с компасом, подумал и приказал два орудия второго взвода выкатить из блиндажа и повернуть назад. Припав глазом к панораме, он лично выбрал точку отмерки и установил угол.

— Шрапнелью, — спокойно сказал он и, отойдя, еще раз взглянул на карту: — Прицел семьдесят пять, трубка семьдесят. Третье и четвертое, огонь!

Не сообразив спросонья, что происходит, Семен привычным движением поставил прицел, выровнял горизонт, хлопнул затвором и уже готов был рвануть за шнур, как вдруг сзади раздался страшный крик:

— Стой! Не стреляй!

Семен замер со шнуром, зажатым в кулаке.

Размахивая над головой фонарем, из телефонного окопа, шинель внакидку, бежал вольноопределяющийся Самсонов. Он расшвырял орудейную прислугу, — откуда только взялась сила, — и, подойдя вплотную к командиру, взял его за горло.

— А вы сказали товарищам солдатам, в кого им приказано стрелять? Сказали?

В тот же миг Ткаченко развернулся и ударил Самсонова кулаком по лицу. Вольноопределяющийся упал.

— Огонь! — закричал капитан.

Наводчики медлили. Тогда капитан шагнул к Семену, сказал «виноват» и вынул из его оцепеневшей руки шнур.

— Поручик, потрудитесь стать к четвертому орудию наводчиком. Огонь! — крикнул капитан — и тут же свалился с простреленной головой.

Вторая пуля уложила наповал поручика. Кто стрелял, осталось неизвестным. А уже на батарее, с развернутым красным флагом на палке и винтовками наперевес, шла депутация от восставшего полка.

Телефонисты держали Ткаченко за руки. Другие срывали с него револьвер и пашку. Он был тут же арестован. Самсонов встал, шатаясь, с земли, выплюнул кровь и приказал взять фельдфебеля под стражу. Его отвели в пустой блиндаж и поставили часового, с тем чтобы утром отправить Ткаченко в штаб восставшего полка. А в то время солдаты шутить не любили.

Перед рассветом на пост к арестованному заступил Семен. Взяв обнаженный бебут к плечу, Семен несколько раз прошелся туда и назад вдоль блиндажа.

В крошечном окошечке, из-под земли, виднелся свет. Семен наклонился и заглянул туда. Ему хотелось знать, что делает Ткаченко в эти последние часы своей жизни.

Отец Софьи сидел без пояса на нарах, положив руки и голову на маленький дощатый столик, вбитый в землю. Фуражка с офицерской кокардой лежала рядом. Керосиновая коптилка, висевшая на столбе, освещала черную с сединой голову и вишнево-красные уши. Лица не было видно. Виднелся только краешек черного уса с искрами седины.

Семен сам себе покачал головой и опять принялся ходить. Минут через тридцать он еще раз заглянул в блиндаж. Ткаченко сидел все в том же положении. Семену показалось, что подпрапорщик плачет. Ему стало его жалко. Семен отошел от окошка, раздумывая, не зайти ли к арестованному и не дать ли ему табачку на закурку.

Начало развидняться. На черном небе слабо проступала водянистая туча.

Вдруг из блиндажа постучали в окошко. Глухой голос фельдфебеля требовал, чтобы его вывели оправиться. Семен немного подумал, потом спустился по земляным ступенькам вниз, отпер дверь и, сказав: «Только без всяких глупостей», пропустил фельдфебеля вперед.

В предутреннем свете фельдфебель узнал Семена. Они молча отошли на несколько шагов в сторону, за кусты.

— Ну, раз-раз и готово, — сказал Семен.

Фельдфебель стоял, опустив голову. Семен увидел его лицо. Это было жалкое лицо уже немолодого человека, только что плакавшего. Слезы еще висели на опустившихся усах.

— Слушай, Семен, — через силу сказал Ткаченко: — я тебя знаю, и ты меня добре знаешь. И хоть я перед тобой и перед людьми, может показаться, сильно виноватый, но то не моя вина, а вина всей нашей воинской жизни. Ты еще сосал мамкину цицьку, а я уже проходил учебную команду. Отпусти меня с батареи. Тебе ничего через это не будет, а мне... — Он всхлипнул. — Как-никак, с одного села. Возьми это одно. И другое. Говорю, как перед истинным богом: вернешься домой целый — посылай сватов.

Он снял фуражку и длинным движением вытер глаза рукавом шинели, из-под которого потекли слезы.

Душа у Семена перевернулась. Он боязливо посмотрел по сторонам. Батарея спала.

— Слышь... — сказал он шопотом и решительно махнул рукой, — бежи. Я не видел.

Ткаченко осторожно вошел в кусты и в ту же минуту пропал из глаз.

Когда наутро за Ткаченко пришли из штаба полка, Семен просто сказал:

— А его уже в помине нет. Пошел доветру и доси не возвращался.

— И пускай, ну его к чертям! — неожиданно воскликнул депутат полкового комитета, счищавший с обмоток щепкой слой жидкой грязи. — Еще руки марать об всякую шкуру! А что, товарищи батарейцы, нет ли у кого габачку на одну закурку?

Семен с охотой достал из кармана шаровар жестяную коробочку, но в руки ее полковому депутату не дал, так как хорошо знал пехотные привычки, а открыл сам и положил в протянутую ладонь с черными линиями ровно одну щепотку.

При этом он вздохнул и сказал:

— С одного села. Как-никак. А на бумажку разживитесь у кого-нибудь другого.

ГЛАВА XII

КОНЕЦ ВОЙНЫ

Двадцать пятого октября пришел конец окопной муке солдата. Вся власть перешла Советам.

«Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

Эти слова, сказанные Лениным на Втором всероссийском Съезде Советов, пронесли по фронтам.

Теперь уже никто не сомневался насчет мира. Не сомневался в этом и Семен.

Однако, пока шли мирные переговоры с немцами, минуло еще три месяца. Правда, многие солдаты с оружием в руках уходили домой, не дожидаясь приказа. Остановить их было невозможно. Они шли отнимать у помещиков землю.

Части редели. Фронт еле держался. Но совесть не позволяла Семену бросить родное оружие без хозяина. Не подобало бомбардир-наводчику, старому солдату и георгиевскому кавалеру, уходить из батареи, не имея на руках увольнительной бумаги за подписью командира с приложением казенной печати.

Наконец двенадцатого февраля верховный главнокомандующий подписал приказ о демобилизации.

В это время бригада стояла в глубоком резерве под Каменец-Подольском. Штаб батареи помещался в пустой конюшне сгоревшей помещичьей усадьбы. Дверь конюшни была отодвинута. За грубо сколоченным сосновым ящиком батарейной канцелярии, на походном офицерском сундучке, обшитом брезентом, сидел осунувшийся, но чисто выбритый вольноопределяющийся Самсонов — только что выбранный солдатами командир батареи.

Батарейный писарь стоял возле него на коленях и рылся в папках. На ящике, заменявшем стол, были разложены списки, готовые удостоверения, печати, пачки керенок в открытой несгораемой шкатулке.

Самсонов, в папахе без кокарды, в шведской кожаной куртке без погон, но в полном вооружении, сидел, вытянув далеко больную ногу.

Ветер вносил со двора сухие снежинки. Они летали, не тая, в темноватом воздухе конюшни.

Один за другим входили батарейцы, одетые по-походному, с вещевыми мешками и ранцами. С некоторой неловкостью останавливались они возле ящика и получали документы и деньги.

— Ну, Котко, надумали вы что-нибудь? — спросил Самсонов, когда Семен в свою очередь подошел к нему. Семен замялся.

— Ну? Больше жизни!

— Ничего не выходит, товарищ батарейный командир, — со вздохом сказал Семен: — домой надо. Сеять.

— Да? Ну что ж. Ничего не попишешь. Жаль. Хороший наводчик. А может, еще переменишь? Вон, смотри, — Ковалев остается, Попиенко остается, Андросов остается. Человек двадцать остается. Жалованье пятьдесят рублей в месяц. Все-таки, как-никак, Рабоче-Крестьянская Красная армия.

— Обратно воевать?

— Может случиться.

— С кем же это, когда скрозь со всеми замирились?

— Эх, друг ты мой ситный! — со вздохом сказал Самсонов и задумался, облокотившись щекой на кулак. — Ну, да ладно. Вольному воля. Расписывайся в получении и жарь сеять.

Семен получил бумагу и деньги — демобилизационные, за георгиевский крест, приварочные и жалованье, всего рублей больше сорока: две желтые керенки да несколько почтовых марок, ходивших в те времена вместо мелочи. Он крепко заховал все во внутренний, специально для этого случая пришитый карман шаровар, вытянувшись, отдал командиру батареи честь и, повернувшись через левое плечо, вышел из конюшни.

Во дворе стояло шесть пушек с передками. Возле них с обнаженным бебутом ходил незнакомый часовой с красной лентой поперек папахи. Семен узнал свое оружие. Он узнал бы его среди тысячи других по множеству отметок, знакомых ему, как матери знакомы все родинки, пятнышки и кровинки на теле своего ребенка. Сердце сжалось у Семена.

— Хорошая была орудия, — строго нахмурившись, сказал он незнакомому часовому. — Произведено из нее

три тысячи восемьсот двадцать девять боевых выстрелов. Всего-навсего.

И, не дожидаясь ответа, решительно пошел со двора, подкидывая спиной ранец.

Он шел и про себя пел известную фронтовую песню:

Шумел, горел лес Августовский,
То было дело в феврале.
Мы шли из Пруссии Восточной,
За нами немец по пятам.

ГЛАВА XIII

У ПЛЕТНЯ

Уже давно перестали лаять собаки. По селу пропели третьи петухи. А Семен и Софья все никак не могли расстаться.

Добрых два часа назад поцеловались они на прощанье, и Софья вошла к себе в палисад, заложив за собой калитку дрючком. Да так и осталась возле плетня, как приклеенная.

— А батяка что? — в десятый раз шопотом спрашивал Семен, норовя поверх плетня прикрыть ее плечо краем шенелки.

— Батяка пришел с фронта в середине октября, — в десятый раз отвечала она шопотом.

— Злой?

— Хуже собаки.

— За меня не вспоминал?

— Ни.

— А может, вспоминал, только у тебя из головы выпало?

— Ей-богу, ни. Ну и с тем до свиданьчика. А то у меня уже ноги-таки совсем замерзли. Побежу в хату.

— Подожди. А старый знает, что я тут?

— Его дома нема. Вчера в Балту на базар поехал. Ну, я побегу. А то, бачь, у людей из труб дым начинает итти.

— Та постой, ще успеешь...

Семену сильно хотелось рассказать девушке все, что произошло у него с ее батякой на позициях. Но он понимал: говорить об этом не следует. Мало ли какие дела

могут быть между собой у двух человек с одной батареей. Кого это касается? С другой стороны, ему не терпелось поскорее узнать намерения Ткаченки: не думает ли он «сыграть назад» — отказаться от своего нерушимого солдатского слова. От такой шкуры всего можно ожидать.

Вдруг Софья схватила его руку и крепко сжала.

— Что, мое серденько? — нежно спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Шш... — чуть внятно шепнула она, прислушиваясь. — Шш... Ничего не слышишь?

Семен повернул голову. В предутренней тишине раздавался звук едущей подводки. Звук этот слышался уже давно. Сначала он был очень далек и слаб — еле слышное однообразное брнчанье по твердой степной дороге. Теперь же он раздавался совсем близко. Ухо явственно различало шарканье копыт, подпрыгивающий стук колес и болтанье ведра.

Подвода уже ехала по улице, приближаясь к хате.

— Папа вертается с базара, побей меня бог, — сердито сказала Софья. — Доигрались, ну тебя, на самом деле, к чорту! Бежи до дому, — и, в последний раз обхватив шею Семена, бросилась в хату.

Семен отошел на несколько шагов, притаился у плетня. Подвода остановилась. Раздался знакомый голос, насмешливый и властный:

— Эй, друзья! Жинка! Кто там есть в хате: отчиняйте¹ ворота!

В офицерской папахе из серых смушек и брезентовом дождевике с капюшоном поверх тулупа, делавшего его чересчур толстым, Ткаченко, с кнутом в руках, возвышался над бричкой. Рядом с ним на мешках сидел, закутавшись в рваный кужух, незнакомый Семену худой крестьянин с давно не стриженной узкой головой, насколько было заметно при слабом свете — не старший.

— Приехали, — сказал Ткаченко и тронул спутника за плечо.

— Я не сплю, — ответил тот, не шевелясь.

Бричка въехала в ворота, открытые босой заспанной бабой в старой спиднице.

«Кто ж бы это мог быть?» размышлял Семен, возвращаясь домой.

¹ Отчинить — открыть.

Подходя к своей хате, он заметил две фигуры. Одна стояла по ту сторону плетня, другая — по эту.

— Ну, с тем и до свиданьчика, — услышал Семен быстрый и рассудительный голос Фроськи, — а то у меня уже ноги замерзли. Побегу в хату — пора печку топить.

— Та подожди одну минутку.

— За одну минутку украл чорт Анютку. Спокойной вам ночи, приятного сна.

— Та, Фросичка!..

— Кому Фросичка, а кому Ефросинья Федоровна. Еще один раз до свиданьчика. А то увидит наш Семен — руки-ноги переломает.

— Кому?

— Тебе.

— Мене? Ге! Еще не родился на свете тот человек!

— Вот тогда побачишь. Как споймает да как перетянет батарейским поясом с медною бляхой...

— Что ты меня пугаешь солдатом? Я сам свободно мог на позиции поехать, только до моего года очередь так-таки и не дошла.

— А ну, покажись, кто тут солдата не боится? — страшным голосом сказал Семен, появляясь рядом.

Долговязая фигура дернулась, будто ее тронули сзади шилом. Хлопец отскочил от плетня и кинулся по улице, пригнув голову и размахивая длинными руками, чтобы не поскользнуться.

Семен, не сходя с места, грозно потопал ему вдогонку сапогами. Фроська помирала со смеху, припав головой к глечичку, сидящему на дрючке плетня.

— Это какой же? — строго спросил Семен.

— А Ивасенковых Микола.

— Тот, который до войны ходил подпаском за клембовскими коровами?

— Эге.

— Тю! Ему ж тогда, дай боже, чтоб тринадцать лет было! Ну что ты скажешь: пока мы там четыре года трубили, тут уже все байстрюки женихами заделались. Давно с ним гуляешь, Фроська?

— Сегодня первый день, — застенчиво сказала девочка. — Еще года два-три погуляю, а там посмотрю: может, замуж пойду, — прибавила она, подумав.

— Кому ты сдалась, рыжая!

— Я не рыжая.

— А какая же ты?

— Я каштановая.

— А чтоб тебя! Много ты видела тех каштанов!

— А вот видела. Один матрос с города Одессы на побывку приезжал до Ременюков, — он и доси тут коло Любки крутится, — с посыльного судна «Алмаз», так оң самых тех каштанов для дивчат привез пуда, может, полтора-два.

Семен сел на призбу¹ и скрутил папиросу.

— Слышь, Фрося, седай, посидим. Воротился только что с Балты старый Ткаченко. И с ним на бричке сидел еще один. Кто такой, не знаешь?

— В порвatom таком кужухе?

— Да.

— Это они себе недавно работника взяли.

— Видать, не из наших?

— Ни. Его старый Ткаченко гдeсь по дороге с фронта подхватил. Он чи с Польши, чи шо. Вроде беженец. Тоже солдат. Его губернию немцы заняли. Ему некуда было увольниться.

— Наделала тая война делов! — вздохнул Семен.

Брат с сестрой еще немножко посидели и зевая пошли в хату. Уже было утро. Так и не пришлоь ложиться.

— Думаю я, — сказал за обедом Семен, играя скулами и сосредоточенно морща лоб, — думаю я посылать сватов до Ткаченко по Софью. Как будет ваш совет, мамаша?

Мать не торопясь вытерла алюминиевую ложку хлебом, — с тех пор как воротился Семен, в доме пошли в ход алюминиевые ложки, — не торопясь повернула длинное костлявое лицо к сыну.

— Скажу только: слава богу, и больше ничего, — быстро сказала она, крестясь. — А Ткаченки наших сватов примут?

— Это мы побачим, — многозначительно ответил сын, поднимая брови. — Бывает, что и примут.

И в доме Котко поднялась возня.

¹ Призба — завалинка.

ГЛАВА XIV
С В А Т Ы

Узнав от людей стороной, что Котко вернулся на село с войны целый и невредимый, Ткаченко не сказал ничего. Как будто до него это вовсе и не касалось. Только на сильном его лице яснее обозначились волосики жилок, тонкие, как волокна в промокательной бумаге.

За последнее время Ткаченко научился молчать. Весь день он занимался хозяйством: сам ходил в погреб, смотрел, по-фельдфебельски отставив ногу, как работник чистил и надувал лошадей, задавал им по артиллерийской норме ячменя, обмеривал лес для нового сарайчика, — словом, всячески старался по дому, как бы торопясь нагнать упущенное за время военной службы. Все это — молча, с неторопливым упорством и точностью сверхсрочного солдата.

И только вечером, когда жена поставила перед ним миску вареников с творогом, эмалированную кружку сметаны и отдельный прибор, — Ткаченко поставил свой дом почти на офицерскую ногу, — а сама, как обычно, пригрюнилась возле двери, он не выдержал.

— Что это за такое, я не понимаю, — сказал он, сильно пожимая плечами: — другим людям на позициях сразу голову отрывает снарядом, а другие всю войну до одного дня сидят на батарее и только над этим насмежаются. Какая-то глупость. — Ткаченко покосился на жену. — Как там дело: выкинула Сонька из головы или еще мечтает?

Жена щепоткой вытерла глаза.

— А кто их теперь знает, Никанор Васильевич! Такое время, что все дивчата прямо-таки показали.

— Хивря! — изо всех сил гаркнул Ткаченко и смахнул со стола кулаком кружку.

Тем часом Семен искал сватов, так называемых «старост». Дело это было далеко не простое. Оно требовало ума. А то на самом деле: пригласишь старост, не подумав, кое-каких, а норовистый фельдфебель, может, с ними и разговаривать не захочет, в хату не пустит. Нужно выбирать людей почтенных, для Ткаченки подходящих.

Вообще полагалось в старосты брать родственников или друзей жениха. Но родня у Семена была незавидная.

Друзей, правда, было множество. Но все они, — те, конечно, которые вернулись с фронта живые, — для такого

дела не годились: как ушли на войну рядовыми, так рядовыми и пришли назад; хоть бы для смеха кто-нибудь заслужил ефрейторские лычки.

А Семену при его сложных обстоятельствах требовались такие старосты, чтобы Ткаченке некуда было податься.

Недели две, не меньше, ломал себе голову Семен, не зная, кого выбрать. Наконец он решил кланяться, во-первых, тому самому матросу Цареву, которого видел на вечерке и с которым уже успел добре подружиться, и, во-вторых, председателю сельского совета, большевику Трофиму Ивановичу Ременюку, но опять же не тому Ременюку, чей баштан около баштана Ивасенков, и не тому Ременюку, у кого двух сынов убило в пехоте (вообще, надо сказать, половина села были Ременюки), а тому Ременюку, который в семнадцатом году вернулся с бессрочной каторги, где он отбывал за убийство урядника.

Хотя матрос Царев в это время сам сватался и ходил совершенно очумелый, но чтобы оказать другу одолжение, а также и для того, чтобы не пропустить случая погулять на хорошей свадьбе, быстро согласился.

Семен рассказал ему все, что у него произошло с Ткаченко.

— Ах, шкура! Ну что ты скажешь на эту шкуру! — воскликнул матрос почти с восхищением. — У нас в Черноморском флоте то же самое. Такие, знаешь, попадались гады, что одно — прикладом по голове и в Черное море. Безусловно. Ну ничего, браток. Будет наша. Сделаем тебе зарученье.

Громадный человек без двух пальцев на правой руке, с вытекшим и давно уже зарубцевавшимся глазом, от чего ужасное лицо его казалось и вовсе незрячим, Трофим Иванович Ременюк в первый миг даже не совсем понял, чего от него хочет Семен.

В бывшей хате сельского старшины, с раскиданными по глиняному полу старорезимными делами в выгоревших на солнце папках и обрывками универсалов¹ Центральной рады, с разломанной золотой рамой царского портрета, засунутой за еловый шкафик, среди кужухов, солдатских шинелей и свиток пришедших по делу и без дела, в махорочном дыму — орудовал Трофим Иванович,

¹ У н и в е р с а л ы — воззвания, декреты.

возвышаясь над малюсеньким столиком присутствия. Здесь быстро, тут же, на месте, с суровым беспристрастием революции, именем Украинской Советской республики совершалась воля народа.

Печатка сельского совета, закопченная на свечке и приложенная к восьмушке косо разлинованной и закорючками исписанной бумаги, сажой утверждала правду, сотни лет снившуюся деревне.

Трофим Ременюк уставился на Семена белым глазом. Толстая морщина поднялась по изуродованному лбу и волной прошла дальше под кожей наголо обритой, голубой головы.

Семен повторил просьбу. Ременюк подумал и согласился, хотя при этом сказал:

— Смотрите, пожалуйста. Понимает солдат, кого надо в старосты просить. Дурной — дурной, а хитрый.

ГЛАВА XV

НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ

Через несколько дней, под воскресенье, голова и матрос двинулись от хаты Котко на другой конец села — к Ткаченко. Они шли не торопясь, посередине улицы. Бабы провожали их любопытными взглядами. Мужики молчаливо кланялись.

Ткаченко увидел их еще издали. Он сразу понял, что это сваты: в руках у них были полученные от жениха посохи, знак посольства, — свежевыструганные батожки¹ из белой акации. Кроме того, у матроса из-за пазухи выглядывал штоф, заткнутый кукурузным кочаном, а голова держал подмышкой круглый плетеный хлеб из пшеничной муки самого тонкого помола.

Ткаченко не успел хорошенько очухаться, как старосты стояли уже возле хаты, постукивая батогами: матрос в заломленной на затылок бескозырке и голова-циклоп² в брезентовом пальто с клапаном и кашушопом, длины и ширины необъятной.

¹ Б а т о ж о к — палка, кнутовище.

² Ц и к л о п ы — легендарные великаны с одним круглым глазом на лбу.

— А мы до вас, Никанор Васильевич, — сказал голова, поверх плетня подавая бывшему фельдфебелю беспалую руку.

— До вас, товарищ Ткаченко, до вас — и ни до когò больше... — болтливо начал матрос, но голова остановил его взглядом.

Вообще, надо сказать, Ременьюк оказался вдруг большим знатоком деревенских обычаев. Согласившись быть свадебным старостой, он принялся за дело солидно, не пропуская ни одной мелочи. Он потребовал, чтобы жених вручил ему и матросу по посоху, чтобы мать Котко спекла хлеб и чтобы у матроса был штоф наилучшего сахарного самогона — все честь по чести, как полагается по старому обычаю, не роняя достоинства жениха и оказывая уважение дому невесты.

Перед тем как тронуться в путь, Ременьюк прочитал суетливому матросу длинное наставление, как надо себя вести и что говорить — опять-таки все по обычаю.

Мать Котко не нарадовалась на такого умелого свата. Шутка сказать: без малого двенадцать лет человек провел на страшной царской каторге, вид крестьянский потерял, а все обычаи помнит. Видно, не раз и не два в тайге, под высокими сибирскими звездами, снилось ему родное село, родная крестьянская жизнь.

— Прощу вашего одолжения, — сказал Ткаченко, подумав и примерившись к гостям соколиным взглядом.

С этими словами он собственноручно снял перекладину и отчинил ворота. Голова и матрос вошли через ворота, хотя свободно могли бы войти и в калитку. Но таков был обычай.

— Заходите в комнаты.

Ткаченко не сказал: «в хату». Этим он давал понять непрошенным сватам, что они пришли в дом к человеку не простому, а привыкшему жить на богатую ногу.

И точно: домик Ткаченки не вполне можно было назвать хатой. Хотя был он и глиняный, и мазанный, и окошечки имел, обведенные синькой, как все прочие хаты села, но все же не было в нем того простодушия, какое придают украинской хате камышевая крыша, размалеванная розочками призва и подкова, прибитая на счастье к порогу.

Крыша ткаченкового домика была железная, голубого цвета; вместо призывы стояла длинная скамейка; над две-

рю имелся навес, подпертый шестью тонкими столбиками, как в волостной почтовой конторе.

Все это придавало жилищу Ткаченки вид хотя и богатый, но какой-то казенный.

Сваты мимолетно переглянулись. Подтолкнув друг друга локтем, они следом за хозяином вошли в хату.

Здесь также все было не так, как у других. Над раскладной походной кроватью, застланной новой попоной, висела длинная артиллерийская шинель и фуражка с темным пятном на месте кокарды. Стоял канцелярский столик. Вокруг него три еловых стула — неуклюжее произведение деревенского столяра — с высокими спинками, решетчатыми, как лестница. У стены помещался небольшой городской комод с гипсовой вазой. Из нее торчало два султанаковыля¹, крашенного анилином: один — ядовито-розовый, а другой — зеленый до синевы. Над комодом на стене висела в узкой рамке под стеклом глянцево-лиловая фотографическая группа учебной команды, где, если хорошенько поискать, можно было найти и самого молодого Ткаченко, сидевшего перед командиром в первом ряду на земле, скрестив по-турецки ноги в новых сапогах со шпорами. На окнах висели тюлевые занавески, но не было ни одного цветка. И было скучно.

— Извиняйте, — сказал Ткаченко. — Можно садиться на стулья.

Хозяин и сваты сели.

— Вполне как в городе, — заметил матрос, осторожно покосившись на Ременюка.

Но на этот раз голова, видимо, вполне одобрил политичное вступление матроса. По обычаю, полагалось, прежде чем приступить к делу, потолковать о разных посторонних вещах.

— Что это вы, Никанор Васильевич, до нас в сельский совет никогда не зайдете? — спросил Ременюк, кладя на столик хлеб и поглаживая его своей беспалой лапой.

— Отчего ж, можно будет зайти, — ответил Ткаченко, проводя по усам тремя пальцами, сложенными как бы для крестного знамения, — только я не знаю, что я в том сельском совете могу для себя иметь? Чужих лошадей мне не треба, потому что я, слава богу, пока что имею

¹ К о в ы л ь — степная трава.

собственных. То же самое и без чужой земли я не страдаю.

— Они стоят на аграрной платформе правых социалистов-революционеров, а то и обыкновенных кадетов, — пожав плечами, заметил матрос, обращаясь к голове. — Они не согласные с нашим лозунгом: забирай обратно награбленное. Как вы скажете, товарищ Ременюк?

— Я скажу, что среди местного крестьянства еще попадаются сильно-таки несознательные люди.

Пожелтели от ярости темные глаза Ткаченки. Каждый мускул стал отчетливо виден на его лице. Но и только. Больше ничем не выдал себя бывший фельдфебель.

— А я скажу обратно, — проговорил он небрежно: — чересчур все стали сознательные.

Здесь разговор застрял. Хозяин и гости долго молчали. Наконец, помолчав столько, сколько допускало приличие, Ткаченко не торопясь повел речь о новом сарайчике, который собирался строить.

Но тут голова и матрос вдруг нетерпеливо застучали посохами. Этого мига больше всего боялся Ткаченко.

— Кланяется вам молодой князь, — сказал голова решительно.

— Известный вам товарищ Котко, Семен Федорович, — торопливо прибавил матрос: — человек вполне справный, здоровый, холостой, хоть сейчас может обкрутиться с кем угодно...

— Ты! — зловеще сказал матросу Ременюк. — Заткнись, ради бога. Поперед батыки не суйся в пекло! — и любезно продолжал, обращаясь к Ткаченке: — Кланяется вам молодой князь и просит спытать у вас, Никанор Васильевич: отдадите вы за него свою дочку, Софью Никаноровну?

— Ну, и то же самое, — пробурчал матрос. — А я что говорю?

— Привяжи свою балалайку... И мы, его старосты, так же точно кланяемся вам и просим уважить, чтоб нам не пришлось вертаться без заручения обратно через все село, насмех людям.

Ременюк бил наверняка. Отказать таким сватам было не под силу хитрому Ткаченке. Ткаченко и сам понимал это. Однако он медлил, подперев кулаком подбородок.

— Знаете что, загадали вы мне задачу, — тянул он, жмурясь. — Не ожидал я такого дела.

Была б Софья моложе, он сумел бы отговориться ес годами. Но девушке исполнилось девятнадцать. Возраст для деревенской невесты критический. Почти старая дева.

— Дайте подумать.

— Чего там подумать, — недовольно сказал матрос, для которого всякие формальности и волокита были хуже чорта. — На самом деле! Девушка согласная? Согласная. Семен согласный? Согласный. А что касается папы, то папа тоже согласный. Папа свое нерушимое слово давал Семену еще на румынском фронте. Там у них один разговор был. Не молчите, папа, подтверждайте факты палицо или же начисто отрицайте.

— Я своего слова не вертаю. Как дочка, так и я, — сказал Ткаченко, не поднимая глаз. — Пускай она сама за себя скажет. — И с этими словами вышел.

ГЛАВА XVI

ЗАРУЧЕНЬЕ

Софья дожидалась решения своей судьбы во второй из двух комнат. Это была чистая, нежилая половина со свежевывезанным глиняным полом, с ярко выбеленной печкой и припечкой, размалеванной цветами в горшках и птицами в коронах, как у павлинов. Вокруг бедной иконы киевского письма и по стенам висели на гвоздиках пучки и мешочки сухих, сильно пахучих трав и цветов: чернобривцев, чебреца, васильков, тмина, полыни. На печи была навалена груда прошлогодних маковых головок. Тут же стояли две волнисто расписанные поливенные миски: одна — с горкой голубого мака, другая — налитая до краев темным медом, в котором плавали крылышки пчел.

И до того была не похожа эта горница на комнату, где помещался хозяин, до того была она милой и простодушной, так славно, так прохладно пахло в ней Украиной, что трудно было поверить, что находятся они рядом в одной хате и покрывает их одна крыша.

Софья, в козловых башмаках на резинках с торчащими ушками и в калошах «Проводник», и ее мать, босая, сидели на полу возле сундука с приданым, открытого впо-

лыхах. (Едва только сваты вступили в дом, женщины бросились сюда, крестясь и роняя шпильки).

Софья успела надеть новые башмаки, калоши и колленкоровую кофту. Мать ничего не успела надеть.

Ткаченко вошел и запер за собой дверь.

— Ну? — сказал он.

— Псжалей свою дочку, Никанор Васильевич.

— С тобой не разговаривают, — прошептал он придушенно, чтобы в соседней комнате не услышали скандала, и пнул сапогом старуху. — Тебя спрашиваю, Сонька! Ну?

Софья проворно вскочила на ноги и прислонилась к печи, задрав вверх лицо — белое в красных пятнах. Ее сухие, полопавшиеся губы дрожали.

— Я согласная! — крикнула она сорванным голосом и закрыла лицо рукой, как бы обороняясь от удара.

— Тшшш, — зашипел отец, — тшшшш, дура... Убери с лица руку. Не моргай. Тшшшш. Слышу, что ты согласная. А ты сварила своими мозгами, на что ты согласная? За кого собираешься идти? Какого мне зятя устраиваешь? Может быть, ты мечтаешь, что этот тарарам будет продолжаться в России еще десять лет? Так я тебе говорю — не мечтай. Позабирали клембовскую землю, поделили клембовский скот, клембовский дом стоит на горе пустой, с забитыми окнами, — и они себе радуются, песни играют. Советы депутатов сделали. Думают без хозяина обойтись. С одними каторжанами. Вряд ли. Я тебе говорю, через какой-нибудь, может быть, месяц все обратно станет — и что ты тогда будешь робить со своим лядащим¹ Семеном, и с теми краденными клембовскими коровами, и с тою нахально посеянной клембовской землей? Под суд вместе со всеми хочешь попасть? На каторжные работы? Под расстрел? И меня через это на всю жизнь замарать?

Софья стояла перед отцом, неподвижно устремив на него выпуклые глаза.

Он смягчился, приняв ее молчание за согласие.

— Слышь, — сказал он, — ты ему не верь, что он тебе поет. Я лучше его понимаю дело. Слава богу. Сюда скоро до нас немцы вступят, а за ними и государя императора недолго будет дожидаться. Верные люди говорили, с Балты, которые знают. Трошки подожди. — Он еще более

¹ Л я д а щ и й — ленивый.

понижил голос. — Если даст бог, то найдется тогда для тебя один человек...

Испуг мелькнул в ее глазах.

— Не треба мне от вас никакого другого человека, — скороговоркой сказала она и вдруг опять крикнула с отчаянием и дерзостью: — Отчепитесь от меня, папа, бо я все равно ни за кого другого, кроме Семена, не пойду, и годи!

Он подошел к ней вплотную. Она уперлась ладонями в его грудь и изо всех сил оттолкнула.

— Скаженная!

— Сами вы скаженный! Последней совести человек решился! Не трожьте меня, идите, вас там сваты дожидаются.

Он смотрел с изумлением на ее бешеное лицо с закушенными до крови губами. Но Софья не помнила себя. В беспамятстве она билась за свое счастье. Он никогда не предполагал, что она может быть такая. Он испугался.

— Тшшш, ну тебя к чорту! Не делай мне тут в хате шкандал. Сполосни морду водой и зайдешь до нас.

Он вернулся к старостам, всем своим видом стараясь показать, что ничего особенного не произошло.

— Женские слезы, — сказал он, с иронией кивнув на дверь.

— Обыкновенное дело, — подтвердил матрос. — Одна соленая вода. Как у нас в Черном море. Не больше.

Явилась Софья с матерью. В ушах у старухи болтались большие серебряные серьги, похожие на кружочки лука. На ногах скрипели новые чоботы, причинявшие страдание. Лицо Софьи было бесстрастно.

Женщины поклонились гостям.

— Кланяется вам молодой князь, — с легким раздражением сказал матрос, — известный вам человек Семен Федорович, под фамилией Котко. Какой будет ваш ответ? — и при этом посмотрел на Ременюка. — Так?

— Нехай так.

Ткаченко исподтишка посмотрел на дочь яростными глазами на усмехающемся лице. Он еще надеялся. Ей стоило только спеть:

Не ходи до мене,
Не суши ты мене.
Коли я тобі не люба —
Обойди ты мене.

Это бы означало отказ.

Софья сделала угловатое движение плечом, поправляя неудобную кофту, и стала перед отцом и матерью на колени.

— Благословите меня за Семена.

— Сеанс окончен, — сказал матрос и поставил на стол штоф.

ГЛАВА XVII

Ж Е Н И Х

С той самой минуты, когда сваты, оставив Семена дома дожидаться своей судьбы, отправились к Ткаченкам, Фрося засуетилась и захопотала неслыханно. У нее сразу же оказалась куча дел. Первым долгом приходилось подсматривать в окошки ткаченоквой хаты, следя за ходом событий. Вторым долгом следовало все новости тотчас передавать по селу. Наконец, третьим долгом надо было как можно скорее собрать дивчат — подружек невесты, — с тем чтобы в нужный миг они появились в хате Ткаченокки.

Фрося носилась по селу, как скаженная, гукая громадными чоботами. Платок съехал с головы. Рыжая коса металась за худыми плечами. Козьи глаза стояли неподвижно на отчаянном лице, таком красном, точно его натерли кирпичом.

Со стороны можно было подумать, что это именно ее и сватают, — так она суетилась.

— Гей, Фроська, что там слышно? — кричали бабы из-за плетней. — Уже заручили?

— Ще ни! — отвечала она, с трудом переводя дух. — Ще только разговаривают. — И мчалась обратно к ткаченоквой хате подсматривать.

А через минуту опять бежала, размахивая длинными руками:

— Заручают! Заручают! Заручают, чтоб мне провалиться!

Едва только Софья навязала на рукава сватов рушники, вышитые красной бумагой, а мать приняла от Ремюка в дрожащие руки хлеб, — в комнату вошли, скрипя башмаками, подружки, умирающие от стеснения и любопытства. Они обступили невесту.

На столе появились холодец из телячьих ножек, квашенные зеленые перчики и четыре граненых стакана.

Матрос крикнул и, подмигнув дивчатам, среди которых находилась и его собственная невеста Любка, налил по первой.

— Ну, товарищи переплетчики...

Но голова бросил на него уничтожающий взгляд.

— Опять двадцать пять, — пробормотал матрос грустно.

Голова взял тремя целыми пальцами стаканчик, подумал и сказал:

— Нехай будут счастливые. С зарученьем вас. Прошу покорно не отказать.

Он осторожно стукнул своим стаканчиком другие стаканчики, выпил и закусил перцем. Его примеру последовал матрос, но к закуске не притронулся, так как считал это ниже своего достоинства. Ткаченко выпил, ни на кого не глядя. А мать лишь приложила к стаканчику собранные в оборочку лиловые губы, закашлялась с непривычки, поперхнулась и залилась счастливыми слезами.

Матрос проворно взялся за штоф.

— Та подожди ты, ради бога, — плачущим голосом сказал голова. — Человек с Черноморского флота, а доси ни об чем не имеет понятия. Как дитё. Поставь вино на свое место.

Тут подружки запели:

Что вы, старосты, сидите,
Чом до дому не идете?
Ще ж Соничка не ваша — наша,
Хоть заручена, да не звинчана,
Ще ж вона таки наша.

— Теперь можешь наливать, — сказал голова. — Понятно?

— Чего ж непонятно? Понятно. — И матрос мрачно налил.

Все выпили по второй.

Мать вынесла и подала голове другой хлеб в обмен на тот, который получила от него. Затем сваты церемонно раскланялись и пошли сообщить жениху, что предложение его принято.

Семен сидел с матерью в хате и ждал. Иногда он выходил во двор посмотреть вдоль улицы, не идут ли старосты.

Уже все село знало, что зарученье произошло. Лишь один Семен ничего не знал. Обычай не позволял ему выйти со двора и спросить людей.

Наконец показались сваты. Семен сразу распознал голову и матроса с полотенцами на рукавах, хотя до них еще было без малого полверсты. Вот когда пригодился Семену верный глаз наводчика!

— Можешь радоваться, — сказал Ременюк, входя во двор и отдавая Семену хлеб Ткаченок. — Сделали тебе зарученье. Старый чорт покрутился-покрутился, ну только видит, что все равно нашла его коса на камень.

— Ты скажи спасибо, браток, мне, — прервал его матрос: — я этой сверхсрочной шкуре такой нарек сделал, что под ним с одного разу земля загорелась.

Семен и его мать низко и важно поклонились сватам.

— И вот что, — сказал голова: — я и так из-за этих ваших глупостей целый день потерял. У меня в совете дело стоит. Надо еще списки составлять на клембовские сельскохозяйственные машины. А то люди не смогут во-время посеять. Так что будем это дело скорее кончать. Зарученье сделал, теперь тем же ходом сделаю змовины, а дальше крутитесь сами, только, за ради бога, в церкву меня с собой не тащите, бо все равно не пойду.

ГЛАВА XVIII

ЗМОВИНЫ

Тем же вечером Семен в походной форме, с георгиевским крестом и бебутом на поясе, но, конечно, без погон, в сопровождении старост, матери, Фроси и еще некоторых соседей, приглашенных в «баяре», вступил в дом Ткаченки.

— Ну что ж, Котко, здравствуй, — сказал бывший фельдфебель.

— Здравия желаю, Никанор Васильевич.

— Пришлось-таки нам с тобою еще раз побачиться.

— Так точно.

— Давно с батареей?

— Прошлого месяца пятнадцатого числа уволился по демобилизации.

— Очень приятно. Орудия и коней, звычайно¹, со всеми обозами так и покидали немцам?

— Кони и орудия остались на месте, только они уже теперь считаются Рабоче-Крестьянской Красной армии.

— Вот оно какое дело. Так, так. Значит, батарея целая. Кто же за командира?

— За командира наш вольноопределяющий Самсонов.

Ткаченко чрезвычайно высоко поднял брови и, сделав детски невинные глаза, обернулся к гостям.

— И вы подумайте только, — восхищенно пропел он тонким голосом, — вы подумайте только, господа, — чи, извиняйте, товарищи, — какая теперь в армии интересная служба пошла. Обыкновенный вольноопределяющийся целой батареей командует. Ну и ну! Довоевались. Когда так, ты бы себе, Котко, мог под команду взять не меньше как артиллерийскую бригаду. Очень свободно. Что ж вы, дорогие сваты и гости, стоите на ногах? Сядьте на стулья.

— Ваша хлеб-соль, наша шнапс², — сказал матрос, вытаскивая из пазухи новый штоф. — Итого один да один — два. Арифметика.

Тут как бы впервые соединились два хозяйства — жениха и невесты. И начался пир.

Пока голова и Ткаченко вяло стоваривались насчет приданого, пока матрос, еще не разыгравшись, осторожно прохаживался пальцами по басовым клапанам своей гармонике и бросал томные взгляды на Любку, пока обе матери, утирая новыми, еще не стиранными платками мокрые от слез носы, говорили друг другу в уголку ласковые слова, вспоминали молодость и считались родней, пока дивчата застенчиво пересмеивались, не решаясь запеть, — Семен сидел, задвинутый столом в угол, и старался не смотреть на Софью.

Она, как ей и полагалось по обычаю, одиноко стояла у порога. Маленькая слеза висела на ее слипшихся ресницах.

Но вот она одернула кофту, подошла к жениху, поклонилась ему и молча подала на тарелке платок.

— Правильно, — заметил голова.

Семен встал и в свою очередь молча поклонился Софье.

¹ З в ы ч а й н о — конечно.

Ш н а п с — водка.

Он взял с тарелки платок и заткнул за пояс рядом с бебутом.

Некоторое время жених и невеста не дыша стояли друг против друга. Наконец она обхватила его за шею и прижалась губами к солдатской щеке, жесткой, как доска. Он неловко поцеловал ее в соленый глаз. Потом, обнявшись, они долго целовали друг другу руки.

Тем временем дивчата, собравшись с духом, залели страстными голосами:

Рано, раненько!
Ой на гори новый двор,
А в том дворе змовины,
Там брат сестру змовляе,
Да змовляючи пытае:
— Кто тобі, сестра, мылейше?
— Мылий мини батенько.
— Се твоя, сестра, неправда,
Рано, раненько!

Каждое слово этой старинной песни нежно отдавалось в сердце Семена.

Он обнял Софью за талию. Как бы желая снять его руку, она схватила его за пальцы, осторожно крутила их и еще теснее прижимала к своему боку.

Они сидели рядом за столом, прямые, неподвижные, охваченные блаженным стыдом.

Мадиновое солнце низко прокатилось по окнам и спряталось за далеким степным курганом с ветряком, точно вырезанным из черной бумаги.

— А ну, кавалер, давай теперь свою саблю, — сказал голова, вытаскивая из ножен бевут Семена.

Услужливые руки дивчат тотчас прилепили к рукоятке принесенную матросом восковую свечу-тройчатку. По обычаю, ее следовало украсить васильками, калиною, колосьями. И хотя на дворе стоял месяц март, явились, как по волшебству, и васильки, и калина, и колосья — правда, сухие, но все же сохранившие свои сильные краски. Лето само вошло в хату.

Голова хозяйским глазом осмотрел дивчат.

— Требуется нам теперь добрая светилка.

На эту должность обыкновенно выбиралась девушка лет двенадцати-тринадцати и хорошенькая. Это было самое поэтическое лицо свадьбы — эмблема девичьей жизни.

— А ну, кто из вас подходящий?



— Шаблю в руках удержишь? Держи. Будешь светилкой.

Как только голова произнес это, Фрося вспыхнула до корней волос. Даже руки ее стали красные, как бурак. Сердце остановилось. Недаром же она целый день так хлопотала, старалась, была подметки и с плеч роняла платок.

Она уже давно, тайно и страстно, мечтала хоть разок в жизни побыть на свадьбе светилкой.

Девочка изо всех сил прикусила губу. Ее рыжие брови поднялись. Глаза вытаращились. Зеленые и неподвижные, они с отчаянием смотрели на Ременюка, просясь в самую душу: «Возьмите мене, дядечка! Возьмите мене, дядечка!»

Голова посмотрел на девочку ужасным глазом и взял ее тремя пальцами за пунцовую щеку.

— Ты кто здесь такая?

— Ефросинья, — одними губами прошептала она. — Котковых. Семена сестра.

— Годишься. Шаблю в руках удержишь? Держи. Будешь светилкой.

И вдруг такой страх напал на Фросю, что она кинулась в угол, закрыла лицо руками и затопала чоботами.

— Ой, ни! Ой, ни! — трясая косой, запищала она. — Ой, дядечка, ни! Я стесняюсь.

Но, впрочем, через минуту она уже важная, и от важности бледная, сидела рядом с головой, обеими руками держа перед собой кинжал с горящей свечой, украшенной колосьями, васильками и калиной.

Чистое пламя раскачивалось из стороны в сторону. Воск капал на подол нового Фросиноного платья. Ясно и выпукло освещенное лицо девочки, казалось, качается из стороны в сторону, как бы волшебным написанное в воздухе водяными красками.

А дивчата продолжали петь:

Ой, рано, раненько!
За горбодом¹ дуб да береза,
А в горбоде червоная рожка.
Там Соничка да рожу щипае.
Пришла до² ей матюнка:
— Покинь, доню, да рожу щипаты,
Хочу тебе за Семена отдаты.
— Я Семена сама полюбыла,
Куда пошла, перстень покатыла,
А где стала — другой положила...

¹ Горбод — огород.

НОВЫЙ РАБОТНИК

Несколько раз гости вставали с мест, собираясь уходить по домам, но каждый раз Ткаченко, злобно покосившись на свечку, говорил:

— Ничего. Сидите. Еще свечке много гореть.

По обычаю, следовало сидеть до тех пор, пока не сгорит большая ее часть. Матрос же, не любивший уходить из гостей рано, где-то раздобыл и принес свечку весом фунта на полтора, чем обеспечил танцы и ужин по крайности до двух часов ночи.

Давно выпили один штоф и другой. Посылали уже за третьим, за четвертым. Успели станцевать раза по четыре польку-птичку, и просто польку, и польку-кокетку, и специальную солдатскую польку, вывезенную из Восточной Пруссии. Спели «И вихри в дебрях бушевали», и «Позарастали стежки-дорожки», и, конечно, «Шумел, горел лес Августовский», «Реке тай стогне Днипр широкий», и «Ой на гори тай женцы жнуть».

Потом голова и матрос станцевали новый, еще не успевший дойти до деревни, очень модный танец «Яблочко», слова которого вызвали восторг, так как запоминались с одного раза, прямо-таки сами собой. Откуда ни возьмись, появился скрипач и запиликал на своей скрипке. А свечка догорела едва до половины. Часу во втором голова, выходявший из хаты подышать свежим воздухом, заметил во дворе фигуру какого-то человека.

— Стой! Ты кто такой еСТЬ? — закричал он громовым голосом, но тут же сообразил, что это новый работник Ткаченки. — Тю, чорт, обознался. Ты что тут один во дворе стоишь, а в хату не заходишь? Это при советской власти строго запрещается. У нас теперь при советской власти все люди одинаковые — нема ни хозяев, ни работников. Идем выпить и закусить. Видал у меня на рукаве полотенце? Как я здесь староста, должен мне подчиняться.

С этими словами голова сгреб его подмышку и, как тот ни отказывался, втащил в хату.

— Гуляй с нами, — сказал матрос и подал ему полный стакан. — Пей, не журишься. Наш верх!

Гости с любопытством рассматривали нового работника. Хоть он жил на селе давно, люди видели его редко. Он

никуда почти не выходил со двора. Если же и выходил, то ни с кем не заговаривал, а на вопросы отвечал односложно и бестолково.

Теперь он стоял посреди хаты со стаканом в белой, как у больного, руке и вопросительно смотрел на своего хозяина. На нем были разношенные солдатские валенки и кужух, грубо сшитый из разных кусков овчины. Болезненное, узкое лицо его заросло жидкими усами и бородой. Несколько месяцев не стриженные волосы лежали на сальном вороте кужуха, как у дьячка. И никак нельзя было понять, сколько ему лет: двадцать пять, девятнадцать или пятьдесят. Словом, у него был вид неграмотного и опустившегося солдата нестройной команды, выпивавшегося недавно из околотка. Но вместе с тем в самой глубине его темноглазых, почти синих глаз светилось нечто до такой степени непонятное, что, глядя на него, каждый человек невольно загадывал себе: и в какой это губернии рождаются такие люди?

Ткаченко с неудовольствием смотрел на своего работника. Видно, сильно не по душе пришлось бывшему фельдфебелю, что на змовинах его дочка присутствует его же собственный батрак. Однако он кивнул ему головой и сказал:

— Ничего. Надо выпить, раз люди просят.

— Будем здоровы, — сказал работник, непонятно усмехнулся и одним духом опрокинул в себя полный стакан.

Часа в два ночи свеча сгорела на три четверти.

— Эх, — сокрушенно вздохнул матрос, — не тую свечку принес! Совершенно не тую! Ну, ничего. Буду сам змовляться — так на два пуда чистого воску расстарюсь. Верно, Любка?

Гости стали прощаться. Ткаченко их не задерживал. По селу пели петухи. Так кончились змовины.

И снится чудный сон Татьяне...

Пушкин.

За змовинами полагались розгляды. Отец и мать невесты со всеми родственниками должны были отправиться в дом жениха посмотреть его житье-бытье. Здесь жених и невеста впервые вместе хозяйничали, принимая гостей. Эта часть сватовства являлась решительной. Жених и его хозяйство должны были предстать перед родителями невесты в наилучшем виде. От этого мог зависеть исход всего сватовства.

Как ни хотелось Семену поскорее сыграть свадьбу, как ни торопился он исполнить все формальности, все же пришлось ему на несколько дней отложить розгляды: надо было сделать новую крышу, съездить в Балту за подарками невесте и ее родичам.

Покончив с крышей, Семен заложил в подводу лошадей: свою клембовскую кобылу, успевшую к тому времени получить новое, очень интересное имя «Машка», и клембовского же мерина Гусака, — которого одолжил ему для такого случая Микола Ивасенко — Фроськин кавалер; попрощался с Софьей и поехал в город.

Он поехал, а Софья рано легла спать, и ей приснился сон.

Снилось ей, что она проснулась в своей кате, там же, где и легла спать, проснулась и смотрит, а вокруг никого нет — ни отца, ни матери, ни Семена. И это недаром. Это все что-то значит. Решила она тогда пойти в парадную горницу, туда, где на печке мед и мак, — может быть, там кто-нибудь есть. Но тут же вспомнила, что комната, где она проснулась, и есть эта самая парадная горница, а другой — у них в кате и сроду не бывало. Те же на стене пучки сухих пахучих трав, те же букетики калины, васильков, жита. Но всю мебель повыносили. А на полу стоит восковая свеча и тихо горит. Наверное, только что зажгли — еще фитиль не почернел. Страх напал на Софью, и она поскорее вышла во двор. Может быть, во дворе кто-нибудь есть живой? Двор чисто подметен, даже еще видны свежие следы метелки, но вокруг — ни души. Может быть, хоть кони в конюшне есть? Но ни коней не видно. Ни самой конюшни нигде нету. И стоит над пустым дво-

ром пыльный, скучный день, такой душный, как будто собирается пойти дождь. А посреди двора горит восковая свеча, и фитиль у нее уже почернел, и с одного боку капает воск. «Что ж это, на самом деле, такое делается?» подумала Софья, ломая руки, и тотчас увидела работника. Он шел мимо нее, не глядя, но кивал ей головой. Софья сразу поняла, чего он хочет. Он звал ее пойти с ним в степь скорее, пока дома никого нема. Еще страшнее стало Софье. Стараясь, чтоб он не услышал, она выбежала босиком на улицу. Там было совершенно пусто. Не то что людей — ни одной курицы, ни одной собаки, ни воробья не было видно. И все село, из конца в конец, стояло, как на серой ладони, с церковью, погостом и сухими скирдами — пустое, до тошноты тихое. А работник уже подходил сзади, молча показывая в степь голубыми глазами.

— Чего ты за мной ходишь?

— А я за тобой не хожу, — ответил он по-турецки.

Вокруг стало еще серее и пустынное. Софья поняла, что надо бежать до Семена, пока не поздно. Но едва она пробежала полдороги, как стало ясно, что уже поздно. Все было потеряно. Тогда она решила спрятаться в кузне. Тут дверь кузни растворилась, и навстречу ей вышел работник. Софья заметила, что посреди кузни на наковальне стоит свеча, сгоревшая уже наполовину. А работник показывает глазами в степь.

— Не ходи за мной, — заплакала Софья.

— А я за тобой не хожу.

И Софья увидела вдруг его черствую улыбку. Тут уже не страх — ужас охватил ее и потряс с головы до ног. Словно вихрь ударил ей в спину и немного приподнял от земли. Она изо всех сил побежала по воздуху, мелко-мелко семеня ногами и отталкиваясь иногда от подвернувшегося снизу холмика или камня. Так она, не помня себя, влетела в пустынную комнату с саблями на стене. Она со звоном захлопнула за собой дверь из разноцветных стекол, прижала ее плечом, два раза повернула ключ и тут же поняла, что попалась. Посреди комнаты пылала почти до конца истраченная свеча. Работник стоял в сером углу, сам серый, плохо видимый. Он торопливо снимал — нога об ногу — валенки.

— Пожалей меня! — закричала Софья, но не услышала своего голоса.

Он молчал. Теперь она поняла, что это не человек, а нечистая сила. Надо было сейчас же, не медля ни минуты, перекреститься. Но она вся оцепенела и стояла, как каменная. Вдруг правая рука ее стала прозрачной, невесо-мой, как бы сделанной из света. Сама собой она поднялась и перекрестилась. И в тот же миг Софья увидела, что стоит в пустой церкви перед запертыми и задернутыми царскими вратами. А вокруг нее страшными, ангельскими голосами воет невидимый хор, поет панихиду. Все выше, все сильнее поднимаются голоса. А свечка уже совсем догорела. Один только язык пламени сам собой качается на каменных плитах. И вдруг царские врата с силой распахнулись. Из алтаря воровато выглянул работник. Увидев, что в церкви, кроме них двоих, больше никого нет, он сбегал по ступеням и, уже не таясь и не притворяясь, потянул ее к себе. Совсем близко она увидела ненавистные глаза. С неожиданной, последней яростью она схватила работника обеими руками за ремennую завязку на горле и порвала ее. Кужух распахнулся. Обнажилась шея. И на ней Софья увидела что-то: не то крест, не то ладанку.

— Ага, открылся! — закричала Софья злорадно.

А он вдруг стал бледный, красивый, печальный и стал бессильно никнуть, таять на глазах, расплываться, как ладан, пока совсем не пропал. И сон кончился. Софья его тотчас забыла.

ГЛАВА XXI

В БАЛТЕ НА БАЗАРЕ

Через несколько дней воротился Семен и привез новость: немцы наступают на Украину.

Слухи об этом давно ходили в народе. Но толком никто ничего не знал. Теперь же из газеты многое стало известно достоверно. Центральная рада, на которую в конце января восставшие рабочие и крестьяне так нажали со всех сторон, что ее духа не осталось на Украине, в начале февраля очутилась в Житомире. Отсюда она обратилась к Германии с официальной просьбой о вооруженной помощи против большевиков, и германские войска вторглись в пределы Советской Украины.

Газетку, где это было напечатано, Семен позычил в Балте, на базаре, у одного солдата-барахольщика, суетливо продававшего отличную, почти новую палатку, четыре английские ручные гранаты и живую свинью, которая билась в мешке и кричала так страстно, как будто в нее уже воткнули нож.

Котко тут же прочитал сообщение и попросил газетку себе, чтобы повезти на село. Солдату ужасно жалко было отдавать зазря газетную бумагу. Он долго и мучительно морщил толстую переносицу, передвигал фуражку со лба на затылок и с уха на ухо, несколько раз вытирал рукавом мелкие росинки пота, выступившего на скулах, тронутых оспенными тлячками, но в конце концов согласился.

— Забирай! — закричал он на весь базар охрипшим голосом и так отчаянно ударил рукой по воздуху, точно отдавал с себя последнюю рубаху. — Пуцай люди узнают, как буржуи продают их направо и налево немцам. Пуцай узнают!..

Семен бережно сложил газетку и спрятал ее в шапку за подкладку.

Тут же, на базаре, узнал он и многое другое. Было доподлинно известно, что по договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна была отпустить Германии до конца апреля тридцать миллионов пудов хлеба, а также разрешить свободный вывоз руды. Об этих условиях, правда, соглашались вести переговоры и большевики, но немцы предпочли заключить союз с изгнанной Радой. А это значило, что немцы не только рассчитывали выкачать украинский хлеб, но, главным образом, задушить на Украине советскую власть, признанную всем трудовым народом, и вернуть старый режим.

— От це тобі и Рада, — говорили, крутя головой, сельчане, приехавшие на базар по своим делам. — Она рада, только народ не радый. — И спешили назад до дому сообщить людям новости.

Очевидцы рассказывали, что севернее Волочиска идет наступление широким фронтом в направлении на восток: и отчасти на юго-восток: Луцк, Ровно, Сарны, Коростень, Киев.

Одна мещанка, приехавшая на румынский фронт разыскивать пропавшего без вести мужа и вместо этого в суматохе попавшая в Балту на базар, божилась, что соб-

ственными глазами видела немецкие эшелоны в Шепетовке и Казатине. Она даже показывала людям пропуск, написанный на пишущей машинке, повидимому, по-немецки, за печатью с чудачким немецким орлом и подписанный немецким комендантом.

— Впереди всех, — говорила она, проворно затыкая под платок растрепавшиеся волосы несгибающимся пальцем с серебряным кольцом, — впереди всех идут гайдамаки в смушковых шапках с красным верхом и желто-лакированными¹ бантами на грудях, за теми гайдамаками идут какие только завгодно офицера — тут тебе и русские с погонями и кокардами, тут тебе и польские — с чисто белым орлом на фуражке с розовым околышком, и мадыарские, и украинские, и галичанские. Ну злые все беспощадно! За теми офицерами идут военные-пленные галичане и украинцы. А уже за теми военными-пленными начинаются самые германцы. И чего только у ихних у эшелонах нема! Один полк — кавалерийский, один полк — королевский, один полк — чисто весь на велосипедах, один полк такой, что все германцы сидят в броневиках — ни одного человека на плацформе не видно... — Мещанка вдруг сморщила нос, по носу побежали слезы, заголосила: — Пропала наша Россия! Ратуйте, люди! Ратуйте! — и повалилась грудью на чей-то воз, заставленный мешками с кукурузой.

«Эге», подумал Семен и, не теряя времени, поворотил лошадей назад.

Тревога охватила его. Не жалея кнута, он лупил лошадей, в особенности бывшую клембовскую Машку, как бы вымещая на ее боках всю свою злобу.

— Вот, халява! — крихтел он и, не надеясь больше на самый кнут, стучал, став на колени, по Машкиному хребту кнутовищем. — А еще помещицкая лошадь называется. Доси бежать, как полагается, не научилась. Ничего, я тебя научу!

Но едва Семен очутился в степи, как тревога мало-помалу улеглась. Все вокруг было так обычно, так спокойно.

Он ехал остаток дня и всю ночь по пустынной дороге, окруженный мартовской чернотой земли и с детства знакомыми звездами, по которым бежал широкий степной ветер. Перед рассветом ему стало холодно. Он лег в сено,

¹ Желто-лакированные — желто-голубые.

натянул на голову по-солдатски кужух, угрелся и заснул в повозке, как в люльке. Когда же он, сырой от росы, проснулся, то увидел, что восходит солнце и он подъезжает к своему селу.

Телесным золотом светился крест на церкви. В неподвижном ставке отражался еще темный берег, несколько синих хат и журавель, уже ярко-розовый на самом конце. А вокруг раскинулись поля: огненно-зеленые полосы озимой и черные, как древесный уголь, клинья, приготовленные под яр. На горизонте, против самого солнца, двигался на высоких колесах длинный ящик. Приложив к глазам ладонь, Семен всмотрелся и узнал новенькую двенадцатирядную сеялку из экономии Клембовского. На ней сидел и правил лошадьми Фроськин жених Микола Ивасенко. Всюду виднелись фигуры людей, вышедших сеять. И надо всем этим невидимо бился в засиявшем небе ранний жаворонок.

«Пора и мне уже выходить сеять», подумал Семен. Вчерашняя тревога показалась ему просто глупостью. Все же, распрягнувши лошадей и покушав, он пошел в сельский совет и показал Ременюку газетку. Голова прочитал ее несколько раз молча. В полдень, когда люди воротились с поля, он созвал сход. Коротко, но не торопясь, он рассказал, что произошло, и, рассказав, вдруг закричал во весь голос:

— Товарищи селяне! Слушайте все и понимайте. Сюда до нас идет немец, а вин шутковать не любит. Он хочет взять в кабалу рабочих, забрать землю у крестьян, отнять волю у народа. Он хочет выкачать хлеба тридцать миллионов пудов и всевозможное продовольствие в Германию, хочет задушить Украину и Россию. Таковые цели германских и австрийских помещиков и капиталистов. Теперь не время разговаривать много. Надо робить. Товарищи селяне, мы должны теперь показать на деле, что мы не продажные шкуры, а будем до конца бороться с нашествием иноплеменников, — как и наши предки боролись, например сказать, со шведами, которые тоже один раз, слава богу, заскочили до нас на Украину и не знали, как потом оттуда вытянуть ноги. То же самое французский контрреволюционер Наполеон Бонапарт, нарвавшийся мордой об стол. Что это значит? Это значит — не давать им продовольствия, заморить их к чорту голодом, жечь скирды хлеба, но не давать его германцам! Все, как один человек, встаньте на защиту революции и свободы!

ГЛАВА XXII

РОЗГЛЯДЫ

А на другой день перед вечером в хату к Коткам пришли на розгляды всем семейством Ткаченки.

Хозяйство жениха было представлено в наилучшем виде. Новая крыша, толстая и аккуратная, связанная из отборного очерета, свежо золотилась на солнце. Хата была начисто выбелена, и земля вокруг нее хранила еще яркие подтеки извести. На дворе не виднелось ни одного птичьего пера, — так чисто он был выметен новым просяным веником. Стол, покрытый гвардейской палаткой, лучшей из всех палаток, принесенных Семеном с войны, мог удовлетворить самую богатую и требовательную родню.

На том столе по порядку были расставлены немецкие, австрийские и румынские алюминиевые фляжки, — обшитые серым сукном или вовсе не обшитые, — вычищенные песком, точно серебряные. За фляжками шли разных фасонов манёрки со складными ручками и без ручек — тоже алюминиевые. Затем эмалированные кружки, мисочки, чашки. Два медных стакана, сделанных из трехдюймовых русских гильз. И, наконец, баварские офицерские судки, состоящие из четырех жестяных тарелок, складного ножа, ложки и вилки и складного же стаканчика в кожаном футляре.

Главную же красоту и гордость стола составляла дюжина алюминиевых ложек, собственноручно отлитых Семеном из неприятельских дистанционных трубок и отделанных с терпением и вкусом. Это не были копии круглых деревянных ложек. Это были настоящие продолговатые городские ложки, отлитые по форме офицерской столовой ложки, найденной Семеном все в тех же знаменитых брошенных окопах второго гвардейского корпуса под Сморгонью.

Но только та офицерская ложка была куда беднее. Она была гладкая. Ложки же Семена были богато украшены веточками и каемками, выцарапанными шилом. И на одной из них, особенно чисто сделанной, виднелась надпись: «софія».

Кругом по всей хате — и в жилой ее половине и в парадной — лежали разложенные напоказ: панцевый

инструмент¹, почти новая попона, летние и зимние гимнастерки, немецкие дождевики и пылевики, палатки, английские башмаки, шаровары, бинокль Цейсса, кожа на подметки, бязевые рубахи, ватные кацавейки, пачки румынского тютюна, кожаная австрийская амуниция и многое другое, поместившееся в ранец и вещевой мешок, — словом, самые разнообразные трофеи, подхваченные хозяйственным Семеном на полях сражений.

Софья, которая, по обычаю, впервые в этот день хозяйничала в доме своего будущего мужа и принимала гостей, не могла отвести глаз от всего этого богатства. Со скрытой гордостью она кланялась пирующим и ставила на стол миски, говоря изредка:

— Кушайте, мамо, ложкой, не обращайтесь внимания.

Или:

— Наливай себе, Фросичка, в люминевый стаканчик.

Семен же, натужив скулы и тесно, изо всех сил сдвинув клочковатые брови, что, по его мнению, придавало человеку вид справного, самостоятельного хозяина, с небрежной строгостью бывалого мужа замечал:

— Что ж ты стоишь, София, я не понимаю, и руки сложила? Может быть, дорогие гости ще хотят исты. Там мама поставила у погреб холодец с телячьих ножек. Знаешь, где наш погреб? Принеси и поставь на стол, будь ласковая.

А сам исподволь посматривал на старого Ткаченко, будущего своего тестя, — какое на него производит впечатление их хозяйство?

Но бывший фельдфебель и бровью не вел, как будто ни на столе, ни в хате ничего не было достойного внимания. Только один раз, как только вошел в хату, покосился на вещи и сказал:

— Ну и купил себе наш Котко предметов-полный цейхгауз. На все грóши. Ничего не забыл. Дорого стоило?

Лошадью, коровой и овцами будущий тесть и вовсе не поинтересовался. На просьбу матери Семена посмотреть, какая у них скотина, он ответил:

— А чего мне смотреть? Я ее добре знаю. С того времени, как она еще была клембовская. — И пасмурно усмехнулся.

Другой на месте Семена, может, и почувствовал бы в словах Ткачки лютую, неистребимую ненависть, скры-

¹ Инструмент, употребляемый на войне для земляных работ.

тую за этой короткой усмешкой. Но не до того было Семену, занятому своим счастьем.

После розгляд полагалось назначить день свадьбы. Тут уж дело целиком зависело от тестя. Все, а главным образом Семен и Софья, хотели сыграть свадьбу как можно скорее. Но шел великий пост. Надо было дожидаться красной горки. С этим и приступили к Ткаченке. Однако он решительно заявил, что раньше чем уберут с поля хлеб — о свадьбе нечего и говорить. А там, как бог даст.

Всем стало ясно, что Ткаченко нарочно тянет. Но ничего нельзя было поделать. Это было его право.

Семен, впрочем, попытался нажать на тестя. Ткаченко посмотрел на Семена со странной лаской и сказал:

— Сперва ты меня, Котко, уважил. Потом — я тебя. Теперь ты меня обратно уважь. Не так ли?

И Семен понял, что уломать упрямого фельдфебеля — мертвое дело. На этом покончили.

Семейство Котков проводило Ткаченко до палисада. Семен отчинил ворота, и Ткаченки, минуя калитку, вышли гуськом на улицу через ворота.

Не отошли еще Ткаченки от хаты Котко и на десять шагов, как по улице пробежали, задрав головы, два хлопчика и одна девочка, крича в восторге:

— Ой, бачьте, иэроплан летит!

Высоко в чистом и нежном небе над селом летел аэроплан.

Село было глухое, дальнее, и появление аэроплана заинтересовало всех. Люди выбежали из хат и подняли головы вверх.

Аэроплан летел в глубь страны. Невысокое солнце отчетливо освещало его светлые ребристые крылья, немножко загнутые на концах назад. И на этих крыльях люди увидели два черных креста невиданной формы.

— Герман! — сразу сказал Семен и побежал в хату за биноклем.

Аэроплан скрылся из глаз, но скоро появился с другой стороны, опять пролетел над селом назад, блеснул и пропал окончательно.

Люди молча переглянулись.

Это был немецкий военный самолет.

В ту же ночь Ткаченко заложил коней и выехал со двора. Вернулся он лишь на другой день к вечеру.

Но прошел день, другой, третий. Все вокруг было тихо-спокойно... И село, занятое работой в поле, перестало думать о немцах. Перестал думать о немцах и Семен. За все четыре года войны он не видел немцев ни разу вблизи как следует и никак не мог себе представить, что они вдруг могут появиться тут, на селе. Это было невероятно. Нет. Наверное-таки люди даром подняли панику. Как-нибудь, наверное, это минет.

Весна шла быстро и разворачивалась. Незадолго до пасхи, управившись с яровыми и посеяв небольшой багтан, Семен в первый раз пошел вечером к Софье в гости. Обычай давал ему это право. Тут уж фельдфебель ничего не мог поделать.

Они долго сидели, как брат и сестра, обнявшись, и шопотом разговаривали о своем будущем хозяйстве, о своих будущих детях. Он настаивал на хлопчике. Она застенчиво шептала жесткими губами в самое его ухо:

— Я боюсь.

— Чего ж ты, дурная, боишься?

— А вдруг как не выживу?

— Чего ж ты не выживешь?

— А кто его знает...

— Не думай за это. Еще ничего не было, а ты уже так себя распускаешь.

— Слышь, Семен, а как мы будем его крестить? По дедушке Федору или как?

— Кого?

— Хлопчика.

— Якого?

— Та нашего ж.

Он тихонько засмеялся.

А Софьиная мать сидела тут же на полу, возле припечки. Она прислушивалась к шопоту и уже чувствовала у себя на руках внука, завернутого в богатое одеяльце. Она уже слышала сонный скрип коляски и видела круглое личико ребенка с носиком, маленьким, как горошина. Слезы кусали ее морщинистый нос, но она боялась высморгаться, чтобы не спугнуть сосватанных.

ГЛАВА XXIII
К А З Н Ь

Прошел великий пост. Прошла поздняя пасха. Южная весна кончалась роскошно и уже сторонилась, уступая лету пыльную дорогу, заросшую по краям будяком¹ и бледнорозовыми граммофончиками повилики.

И вот однажды бабы, выдиравшие из зеленого жита перекасти-поле и молочай, увидели на шляху трех человек в серых мундирах с винтовками на ремне. Они шли в село.

Поровнявшись с бабами, окаменевшими от страха и лобопытства, один из них, — по солидности, видать, ихний старшой, — приложил руку к бескозырочке блином, пошевелил задранными вверх усами тараканьего цвета, надул тугие щеки и низким басом буркнул нараспев, как из желудка:

— Мо-оэн!²

— Бок помочь! — крикнул другой, приподнимая над головой свой блин с круглой кокардочкой, малюсенькой, как точка.

Бабы упали в жито и, накрыв голову спидницами, кинулись утискать.

Прежде чем чужие солдаты добрались до кузни, все село уже знало, что пришли немцы.

Из-за плетней и палисадов, с призьб и порогов смотрели сельчане вдоль улицы скорее с любопытством, чем со страхом, на троих солдат с касками, привязанными сзади к толстым поясам.

Немцы шли посредине широкой деревенской улицы, поросшей кучерявой летней травкой, хоть и в узких, но вместе с тем мешковатых мундирах с расходящимся разрезом сзади и в толстых сапогах с двойным швом.

Судя по этим пыльным сапогам, порыжевшим от украинского солнца, и по ядовитым пятнам подмышками, было ясно, что немцы уже прошли верст не менее пятнадцати.

Время от времени они останавливались возле какого-нибудь двора, и тогда старшой прикладывал толстую руку к бескозырке, надувал щеки и бурчал нараспев:

¹ Б у д я к — чертополох, татарник.

² М о о э н ! — то есть «морген», по-немецки — утро (здесь в смысле «доброе утро»).

— Мо-оэн!

После этого вперед выступал другой, повидимому считавшийся у немцев знатоком русского языка, и, приподняв над головой блин, бодро кричал:

— Бок помочь, казаин! Добри ден! Как есть здесь итти находить деревенски рада, пожалуйста?

Но хозяин или хозяйка, — а то и хозяин и хозяйка вместе, да еще в придачу с парой голопузых хлопчиков, уцепившихся за мамкину юбку, — смотрели на гостей с молчаливым любопытством.

Постояв немного у палисада, немцы шли дальше.

Так они вежливо ходили по селу часа полтора, пока не попался старик Ивасенко, на двадцать верст кругом известный своим образованием и способностью говорить по любому поводу до тех пор, пока у собеседника не заболит голова.

— Так что же вы хотите? — начал старик Ивасенко и, предвидя интересный и длинный разговор, попрочнее установил локти на плетне. — Так что же вы хотите, господа? Вы хотите знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или — теперь одно и то же — сельская рада?

— Так есть, — радостно кивнул головой знаток русского языка.

— Ще подождите радоваться, — строго заметил старик Ивасенко, который совершенно не выносил, чтобы его перебивали, — ваше слово ще впереди. Так что же вы таки хотите? — назидательно продолжал он, наслаждаясь плавностью и красотой своего слога. — Вы хотите, или, то же самое, — вам треба явиться согласно виинского приказа до нашей сельской рады. Так я вам на это могу ответить только одно: того сельского присутствия, или, то же самое, той сельской называемой рады у нас уже нема в помине с сего января месяца. Теперь, вы можете спросить, где ж оно, тое присутствие, или, то же самое, называемая рада? На это я вам отвечу так: ее нема. Ее уже нема. Ее уже нема давно, потому что она благополучно кончилась, или, то же самое, разогната сего месяца января. А ее место доси заступает присутствие, или, то же самое, но только теперь не называемое сельская рада, а называемое теперь сельский совет рабочих и крестьянских и солдатских депутатов. А рады уже нема в помине. В помине нема уже рады. Теперь. Вы хотите знать место

и пребывание, где находится сельское присутствие, или, то же самое, теперь сельский совет? То на это я вам могу ответить одно, но только не сразу, а тропки подумав...

Немцы слушали-слушали, а потом, не дослушав, поправили винтовки и пошли себе дальше, шаркая тяжелыми сапогами по вьюнкам.

Старик Ивасенко долго смотрел им вслед с ядовитой обидой в глазах и презрительно качал головой.

— И нехай. Когда они все такие умные — нехай шучают сами. Нехай. Побачим.

Наконец немцы кое-как добрались до сельсовета.

На камышевой крыше, рядом с аистом, стоявшим на одной ноге возле своего гнезда, они увидели похилившийся¹ красный флажок, порядочно выгоревший на солнце.

Повидимому, это их очень удивило, так как старшой долго смотрел на флажок, потом надул щеки, высоко поднял брови и сказал желудочным басом:

— О!

Затем они вошли в хату.

В хате, как всегда, околачивалось много народа. Ремешок в своем неизменном брезентовом пальто с капюшоном, которое он не снимал ни зимой, ни летом, как ни в чем не бывало сидел за столиком и старательно вырисовывал водянистыми чернилами ведомость на распределение клембовского сельскохозяйственного инвентаря между незаможными дворами.

— Бок помочь! — хотя уже несколько утомленно, но все еще довольно бодро воскликнул знаток русского языка, снимая свой блин. — Добри ден.

С этими словами он строго обернулся лицом в угол и размашисто перекрестился слева направо на новенький московский цветной плакат, изображавший попа с лукошком яиц и стихками Демьяна Бедного:

«Все люди братья —
Люблю с них братья я».

После этого старшой произнес свое утробное «мо-оэн» и положил на стол бумагу, вынутую из внутреннего кармана.

— Биттэ.

¹ По х и л и в ш и й с я — покосившийся.

— Пожалуйста, — перевел лингвист¹.

Ременьок развернул добре-таки пропотевшую бумагу и прочел не торопясь вслух напечатанное на машинке по-русски требование начальника императорского и королевского соединенного отряда в трехдневный срок доставить на склад полевого интендантства 1200 пудов жита или пшеницы, 200 пудов свиного сала, 3750 пудов сена и 810 пудов овса. В случае невыполнения этого приказа виновные будут арестованы.

При общем молчании Ременьок сложил бумагу вчетверо, провел по сгибу ногтем, твердым, как ракушка, сунул ее себе под локоть и снова, наморщив лоб, принялся вырисовывать ведомость.

— Альзо? — после длительного молчания сказал старшой.

— Герр унтер-официр, — перевел знаток языка, — что есть по-русски — господин унтер-официр, имеет знать от вас, господин, ответ для герр обер-лейтенант.

— Скажи ему, что безусловно, — ответил голова равнодушно, продолжая лепить свои закорючки.

Старшой одобрительно кивнул головой, но затем строго надулся, поднял вверх толстый указательный палец и отрывисто произнес желудочное слово:

— Абер!..

— Можешь не сомневаться, — сказал голова.

Немцы еще немного потоптались, суясь по углам. Как видно, искали напиток. Но воды не нашли. Затем переводчик опять перекрестился на попа с лукошком, сказал общительно:

— Добри ден. Спокойночи. — И, провожаемые молчаливыми взглядами, немцы вышли из совета.

На обратном пути они зашли в один двор напиток. Пока старшой с наслаждением купал усы в ведре ледяной криничной воды, знаток русского языка успел перемолвиться словечком с хозяйкой, подававшей это ведро.

— Немножко кушать, — сказал он, делая красноречивые жесты. — По-русски то будет — собаки так есть голодни, как мы.

Хотя еще совсем недавно сельчане единогласно поднимали на митинге руки — ни в коем случае не давать немцам хлеба и гнать их чем попало вон с Украины, однако хозяйка по старой женской привычке пожалела солдати-

¹ Лингвист — языковед, знаток иностранных языков.

ков. Особенно пожалела она третьего из них — самого дохлого и маленького, с сухой морщинистой головкой черепахи и в круглых стальных очках, обмотанных ниткой.

Хозяйка сходила в хату и подала немцам на троих четверть буханки хлеба и порядочный шматок сала.

Ободренный удачей, знаток русского языка заходил по дороге из села еще в несколько дворов и там вступал в некие переговоры. Так что, когда немцы проходили мимо кузни, на штыке переводчика уже болтался довольно увесистый узелок, связанный из чистого носового платка с красной готической меткой.

Те же бабы, половшие жито, видели, как немцы, выйдя из села, присели под курганом и поснидали¹. А поснидавши, достали чудачьки фаянсовые, украшенные переводными картинками пипки² с длинными чубуками и зелеными кисточками и сделали перекурку.

Потом они отправились дальше, причем старшой шел уже в расстегнутом мундире, под которым виднелась серая егерская рубаха с перламутровыми пуговичками, а также ладанка от насекомых. А дохлый, в очках, бабьим голосом спивал немецкие песни.

Одним словом, на селе немцы скорее понравились, чем не понравились. И о них забыли. Но ровно через четыре дня они появились снова и прямо направились в совет. На этот раз совет был заперт на замок, а на двери имелась прилепленная житным мякишем записка: «Кому меня треба, то я нахожусь старостой на змовинах матроса Царева у хате Ременюков за ставком. Председатель сельского совета Ременюк».

Знаток языка читать по-русски отнюдь не умел, и немцы стояли перед запертой хатой в некотором затруднении.

Но тут, невдалеке за ставком, им явственно слышались звуки скрипки, гармоники и бубна. Немцы посоветались и побрели по направлению музыки. Обогнувши ставок, они сразу наткнулись на палисад, в котором происходили змовины матроса Царева с Любкой Ременюк.

Матрос пировал широко. Хата не вместила гостей. Столы поставили на дворе. Ременюк хотя и был занят

¹ П о с н и д а л и — позавтракали.

² П и п к и — трубки.

выше горла — все же не мог отказать матросу. Голова сидел на видном месте с посохом и с полотенцем на рукаве и неторопливо вел змовины.

Старшой немец подошел ближе к столу, в упор выкатил на председателя глаза, светлые, как пули, страшно надулся, двинул усами и гаркнул по-немецки так, что со стола свалилась ложка.

— Герр унтер-официр спрашивает, — объяснил переводчик, — где есть должные продукты?

— Якие продукты? — сказал голова.

Унтер-офицер достал из бокового кармана записную книжку, раскрыл ее и грозно постучал по страничке химическим карандашом с резинкой на конце.

— Айн таузенд цвай хундерт, — сказал переводчик, — то по-русски будет одна и две сот тисача пуд пченица и две сот пуд свинске сало и три и семь сот пятьдесят тисача пуд сено и восемь сот диесать пудов овес. Где есть эти?

— Та вы что, смеетесь над нами, чи шо? — воскликнул матрос после некоторого общего молчания. Затем он налил из штофа полный стаканчик и подвинул унтер-офицеру. — Лучше на — выпей, чтоб дома не журились. Такого у вас в Германии нет и не будет.

— Найн! — сказал унтер-офицер и ребром ладони решительно, но вместе с тем осторожно, чтобы не разлить, отставил стаканчик, после чего произнес довольно длинную фразу и снял с плеча винтовку.

Переводчик немного помялся, оглядываясь на многочисленных подруг, гостей, любопытных и музыкантов. Он сделал осторожно улыбку и отступил шаг назад.

— Герр унтер-официр обладает сделать, господин председатель, что вы есть сейчас арестованный и должный иметь направление в комендатуру.

— Я! — сказал унтер-офицер. — Штейт ауф! — и взял винтовку на-руку.

— Та вы что, на самом деле, смеетесь? — простонал матрос, чуть не плача от раздражения, что ему мешают змовляться, вырвал из рук унтер-офицера винтовку, молниеносно ее разрядил и с такой силой зашвырнул за погреб, что по дороге туда она вдребезги разнесла собачью будку и положила на месте серого гусака, подвернувшегося на тот несчастный случай.

Гости повскакали с мест, и через минуту остальные



— Штейт ауф! — и взял винтовку на-руку.

две винтовки тоже пронеслись через двор, подскакивая, как палки, пущенные в городки.

Немцев заперли в погреб и дали им туда большую миску холодца из телячьих ножек с чесноком, целый хлеб и манерку вина.

Змовины шли своим чередом.

Сначала немцы страшно стучались кулаками в дверь и что-то кричали. Но мало-помалу успокоились. А к вечеру из погреба уже слышался бабий голос «дохлого», спивавший немецкие песни.

Змовины кончились на рассвете, и тогда немцев выпустили из погреба. Они потребовали обратно свои винтовки. Но винтовки пропали.

До утра немцы ходили по дворам, спрашивая, не видел ли кто-нибудь их винтовок. Сельчане молчали. Тогда унтер-офицер приложил руку к бескозырке, пробурчал «мо-оэн», сделал своей команде знак поворачивать и зашагал из села с трясущимися от негодования щеками. А на другой день, не взошло еще солнце, как за селом на пляху встало облако пыли.

Село было окружено немцами.

Пока серые солдаты снимали чехлы с четырех пулеметов, поставленных кругом на возвышенностях, взвод драгун ворвался в село. Возле церкви он разделился на три части. Один разъезд, не меняя аллюра, поскакал прямо к сельсовету. Другой — к хате Ткаченки. Третий остался на месте и спешился.

На этот раз немцам было прекрасно известно расположение села.

Старик Ивасенко, страдавший бессонницей и поднимавшийся раньше всех, видел, как Ткаченко разговаривал со старшим немецкого разъезда, остановившегося около его хаты.

Сельчане еще не успели проснуться и выскочить на улицу, как драгуны, ездившие к сельскому совету, уже на-рысях возвращались обратно. За разъездом, в брезентовом пальто, разодранном сверху донизу, спотыкаясь и дергаясь, бежал голова Ременток, скрученный по рукам веревкой, концы которой держали драгуны.

Сейчас же следом за первым разъездом показался второй, волочивший матроса Царева. Вид его был ужасен. Из разбитого прикладом рта на полосатый тельник широко падала кровь. Наполовину вырванный чуб прилип ко лбу,

вываляянному в земле. Скрученная веревкой рука судорожно сжимала лохмотья гармоники, которой матрос отбивался, и на длинной георгиевской ленте, попавшей под веревку, болталась и била по босым ногам матросская шапка.

Перед церковью стояла старая сухая груша, в прошлом году разбитая молнией. Под ней, привстав на стременах, медленно поворачивался немецкий вахмистр.

Драгуны окружили пленных и накинули на них петли. Вахмистр махнул палашом. Казнь совершилась в ту же минуту. И тотчас раздался женский крик такой силы, что на колокольне явственно дрогнула и зазвучала медь большого колокола.

Любка Ременюк вытянула вперед руки, остановилась, как вкопанная, и с остекляневшими глазами на равнодушном лице рухнула навзничь, пяти шагов не добежав до груши.

В село при звуке рожков, с кухнями и обозами, вошла немецкая пехота.

ГЛАВА XXIV

ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ

Обер-лейтенант фон-Вирхов, немецкий комендант уезда, прибыл в мятежное село после полудня. Рядом с ним, в пыльном экипаже с ефрейтором на козлах, сидел молодой чиновник нового правителя Украины гетмана Скоропадского.

В дороге было жарко.

Обер-лейтенант снял замшевые перчатки, — почти белые, но со слабым лимонным оттенком, — вывернул их наизнанку и повесил на эфес сабли, поставленной между колен. Чиновник позволил себе расстегнуть форменный сюртук с погончиками и снять белую фуражку, мокрую внутри. Но при въезде в село обер-лейтенант снова натянул перчатки, а чиновник министерства земледелия застегнулся и надел фуражку.

Часовой в глубокой каске, ходивший под деревом, на котором, уронив головы, висели Ременюк и матрос, остановился и сделал руки по швам.

Обер-лейтенант, не переставая смотреть вперед, прило-

жил два пальца к фуражке. Чиновник искоса взглянул на грушу и, достав из узкого кармана брюк плетеный из египетской соломы портсигар с эмалевым жучком-скарабеем вместо монограммы, решительно кинул в рот коричневую папироску Месаксуди.

Экипаж прокатил через село и въехал в экономию Клембовских, где уже был расквартирован штаб.

Во дворе дымилась кухня. Команда связи расставляла на желтых лакированных палках телефонный провод. Драгунские лошади у коновязи свистели хвостами, отмахиваясь от слепней. На открытом крыльце стоял пулемет.

Часовые вытянулись. Обер-лейтенант поднялся по ступеням и сбросил на руки вестового серый плащ. Чиновник министерства земледелия рысью следовал за комендантом, на ходу сбивая с ботинок пыль носовым платком.

Не входя в дом, обер-лейтенант отвел руку назад и щелкнул пальцами. На крыльце тотчас появилось два стула. Офицер уселся, закинул ногу за ногу и воздушным движением посадил в глаз стеклышко моногля.

Все внимание его было устремлено на большую палатку, разостланную посреди двора.

На палатке лежали две заряженные обоймы трехлинейных винтовочных патронов русского образца, казачья пашка без ножен с кожаным темляком, старинная берданка и дробовик из числа тех, которые сторожа на бапштанах заряжают против хлопчиков солью.

Время от времени во двор входил кто-нибудь из сельчан — мужик или баба — и, пугливо озираясь, присоединял к этой коллекции и свой дар — ручную гранату или штык.

Старик Ивасенко пришел одним из первых. Ему и принадлежала упомянутая уже берданка — свидетельница турецкого похода Ивасенки.

Теперь старик стоял, опираясь на дрючок, в толпе сельчан перед крыльцом и пространно рассказывал, как он видел утром Ткаченко, который показывал немецким драгунам хату Ременюков, где в то время находился матрос Царев. Но рассказывал он, по своему обыкновению, так подробно и неинтересно, что его никто не слушал.

Обер-лейтенант посмотрел на часы. Было половина первого. По приказу, объявленному утром, все оружие, имевшееся на руках у населения, должно было быть сдано до часа дня. После этого срока каждый, у кого оно

будет обнаружено, предавался военно-полевому суду и подлежал расстрелу.

В числе прочих пришел и Семен — положить свое оружие. Он пришел в чистой рубахе с расстегнутым воротом. Лицо его было белое, как та рубаха. В неподвижных глазах стояло и не кончалось видение страшного дерева, на котором висели его сваты.

Как только весть о казни дошла до него, он тотчас закопал в кузне свой револьвер системы наган солдатского образца, патроны к нему, пару ручных гранат-лимонок, а также драгунскую винтовку — все это аккуратно смазанное салом и завернутое в холстину. Бебут Семен пока что оставил в хате. Теперь, чтобы отвести от себя подозрение, он, — хотя и жалко ему это было и оскорбительно, — принес на клембовский двор свой бебут и, положив его в кучу другого оружия, сказал сокрушенно:

— Це все. Больше оружия нема.

И отошел в сторону к сельчанам.

За ним Фрося с сощуренными глазами положила на палатку штык, служивший в хозяйстве колом, к которому привязывали кабанчика.

— Запишите ще мой штык. Больше никакого оружия нема, хоть переройте всю хату! — дерзко сказала она вахмистру, который переписывал трофей в записную книжку.

Но вахмистр не понимал по-русски.

Больше не подходил никто.

— Маловато, маловато, — жидким, но крикливым голосом сказал чиновник министерства земледелия. — Эть, народ! Натаскали с фронта полное село оружия, а сдают всякую дрянь. Не понимают, чудаки, что такое военно-полевой суд, а?

И он замурлыкал под нос романс, повидимому, имевший для него какое-то важное значение:

...На пляже, за старенькой будкой,

Люлю с обезьянкой Шаритт

Меня называет Минуткой

И мне постоянно твердит:

«Ну постой, да ну погоди, моя Минуточка,

Ну погоди, мой мальчик пай...»

В это время во двор вошли Ткаченко и его новый работник.

Ткаченко был в погонах, в фуражке с кокардой и при всех своих четырех «Георгиях», лежавших оранжевой

полосой поперек груди. Подмышкой он держал узкую конторскую книгу.

Если бы работник шел позади, — как и полагается работнику идти позади своего хозяина, — то, может быть, работника не сразу бы и заметили. Но работник шел впереди Ткачки, и бывший фельдфебель следовал за ним почтительно, как за командиром батареи.

Работник был чисто обрит, причесан и вместо обычных валенок на ногах имел хромовые вытяжные сапоги с маленькими шпорами. Он нес перед собой на вытянутых руках офицерскую пашку с золотым эфесом и георгиевским темляком.

Он подошел к крыльцу и протянул коменданту золотое оружие.

При виде этого странного крестьянина в рваном кужухе обер-лейтенант откинулся на спинку стула и удивленно произнес:

— О?

— Вы позволите мне говорить с вами по-французски? — сказал по-французски работник.

— Натюрельман¹, — ответил комендант, вставая.

— Я — штаб-ротмистр бывшей русской армии Клембовский, сын покойного генерала Клембовского и владелец этого поместья. Было бы слишком скучно объяснять вам сейчас историю этого маскарада. Теперь же позвольте мне, — исполняя ваш приказ, — вручить вам мое оружие.

И штаб-ротмистр Клембовский поклонился одной головой — узкой, с выдающимся затылком.

Обер-лейтенант почтительно взял пашку, подержал ее некоторое время перед моноклем и затем широким движением вернул обратно.

— О, нет! Я прочитал здесь надпись «За храбрость». Такое оружие не берут голыми руками. Оставьте его у себя. Немецкая армия умеет ценить благородного противника. Но извините меня за то, что я без позволения занял ваш дом.

— Я предлагаю его до тех пор, пока он будет вам нужен.

Обер-лейтенант, чиновник министерства земледелия и Клембовский вошли в дом. Входя, Клембовский три раза перекрестился.

¹ Конечно (с французского).

За ними закрылась дверь, но тотчас открылась опять, и Клембовский крикнул:

— Эй! Ткаченко! Никанор Васильевич! Зайдите, голубчик, к нам.

Фельдфебель крепко заправил гимнастерку под пояс и прижал локтем книгу. Решительно потупившись, он прошел среди подавшихся на две стороны сельчан и скрылся в доме. Через десять минут чиновник министерства земледелия вывел Ткаченко на крыльцо.

— Вот что, братцы, — сказал чиновник министерства земледелия: — у всех законов имеется свой обычный первоначальный смысл, и ни в одной стране мира грабеж не может быть узаконен. Власти, издавшие закон на право грабежа, отступив от общего смысла мировых законов, сами по себе незаконны. Дурак тот, кто мечтает получить что-либо даром, будь то земля, или скот, или сельскохозяйственный инвентарь, или что-нибудь другое. Земли бесплатно вы не получите: это так же верно, как то, что два и два четыре, а не пять. А теперь, вот вам будет новый староста. Нравится? Действуй, Ткаченко. До свиданья.

Оставшись на крыльце один, с глазу на глаз с сельчанами, Ткаченко задумчиво прошелся туда и обратно, как в былое время прохаживался он перед выстроенной батареей, затем отставил ногу, заложил руку за пояс и сказал такие слова:

— Вот что, друзья. Не скажу — товарищи, бо этого дурацкого слова у нас уже больше нема, а я его и раньше никогда, слава богу, не знал и знать не хотел. Так вот что, друзья односельчане. Безобразие кончилось. Хотите вы того или не хотите, а оно таки так. Различные непрошенные сваты, — вы сами знаете, где они сейчас находятся. Они находятся высоко. А если кто-нибудь из вас не видел, то еще имеет время посмотреть, потому что они так высоко будут находиться три дня, согласно приказу немецкого коменданта. И это сделано только для того, чтобы люди видели и выбросили у себя из головы всевозможные тому подобные глупости. Слава богу, теперь до нас вернулся обратно его высокоблагородие ротмистр Клембовский, так что без законного хозяина мы не останемся. Теперь. Многие из вас, друзья, воспользовались, благодаря случаю, кто чем успел, из чужого имущества, принадлежащего экономии Клембовского. Так это все, безусловно, надо вернуть, чтобы опять не вышло каких-нибудь про-

исшествий еще хуже, чем были сегодня утром. А кто, может быть, тое имущество — коров там, или лошадей, или овец — не уберег, то те пускай приготовят грóши по установленной цене. Землю же клембовскую, нахально захваченную и посеянную, обязаны по закону до осени обрабатывать и снимать урожай, который пойдет полностью законному хозяину земли, Клембовскому, а люди получают только грóши за работу, как батраки. Так что приготовьтесь к этому. Что же касается оружия, то скажу, что сдаете вы его плохо. И предупреждаю. Но это пускай с вами имеет дело военная власть наших теперь союзников и друзей — германцев, пришедших к нам на помощь против всяких безобразий. Вы это себе подумайте. Сегодня я вам больше ничего не скажу. А завтра созывается сход на одиннадцать часов утра. Будет с вами опять разговаривать чиновник с министерства земледелия. Быть всем. И выбросьте из головы. Понятно?

Ткаченко прошелся несколько раз туда и назад, не глядя на народ.

— Разойтись! — сказал он наконец.

Сельчане разошлись, поглядывая на небо.

ГЛАВА XXV

ЧЕТЫРЕ ЧАРКИ

Исси́ня-черная, пороховая туча заходила с края, поднимаясь над прошлогодними скирдами и неподвижными акациями села.

В этот день большая честь выпала дому Ткаченко. Проголодавшееся начальство не погнушалось отобедать у нового старосты.

Никогда еще хата фельдфебеля не видала у себя таких именитых гостей. Господин обер-лейтенант фон-Вирхов, его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский, чиновник министерства земледелия Соловьев попробовали в этот день молочного супа, вареников со сметаной и жареной свинины подпрапорщика Ткачки. Красавица Софья, бледная, как смерть, и оттого еще более прекрасная, подавала гостям блюда, не смея поднять слипшиеся ресницы.

Отец приказал ей для такого случая надеть лучшую юбку и лучшую кофту и лучшие свои монисты повесить на шею. Он осмотрел ее с ног до головы и, осмотрев, сказал:

— Одно: не выкинешь из головы — убью; ступишь за порог — убью; скажешь лишнее слово — убью.

Туча закрыла солнце. Ветер побежал и дунул жарким запахом конопли.

Лучшего девяностосемиградусного спирта, в меру разбавленного кипяченой водой, поставил на стол Ткаченко. Три чарки выпили гости. Первую чарку поднимал его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский.

— Пью эту чарку, — сказал он, — за спасителя моего Никанора Васильевича Ткаченко, верного моего слугу и друга; а также пью я за то, чтобы вперед господ помещики знали, как надо владеть и править своей землей, не чурались бы деревенской жизни, водили хлеб-соль с богатыми и преданными людьми и жен себе брали из наикращих сельчанок, не стесняясь их крестьянством; потому что за землю надо держаться не одной рукой, а двумя; а то не удержишь.

При этих словах его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский как бы вскользь окинул взглядом застывшую у дверей Софью и одним духом выпил свою чарку.

Вторую чарку поднимал чиновник министерства земледелия господин Соловьев.

— Эту чарку, господя, я предлагаю выпить за любовь. И гости выпили по второй чарке.

Третью чарку пил обер-лейтенант фон-Вирхов.

— За Индию! — сказал он по-французски и, заметив, что от него ждут продолжения, продолжил: — Да, господя. Здесь, в этой далекой украинской деревне, за этим грубым крестьянским столом я пью за Индию.

Его глаза налились прозрачной голубой пустотой. Они были устремлены вдаль.

— Мы даем вам успокоение. Вы даете нам хлеб и открываете безопасный путь на Индию. Англия задушила нас на Западе. Но путь на Восток идет не только через Стамбул — Багдад. Он также идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь. Оттуда германские корабли идут на Батум, Трапезунд. Я вижу Месопотамию. Аравийский ветер дует в лицо германских солдат! И — Индия! Индия! Мы вырвем у Англии сердце. За Индию!

Четвертую чарку поднял хозяин.

— Покорнейше вами благодарный, что не отказались от моего посильного угощения. Пью эту чарку за то, чтобы оправдать ваше доверие и справиться с народом.

В хате стало темно. Мимо окон пронеслась вырванная из акации ветка, до последнего листика освещенная на лету небывалой молнией. Гром взорвался, как бомба, попавшая в зарядный ящик, и посыпался на железную крышу.

Гости выпили четвертую чарку.

Ливень плющился о стекла.

Дымные водопады ливня один за другим пробегали по селу. Хаты стали тотчас с одного бока черно-лиловые. Улица вздулась, как река. По серой воде среди пузырей и сметья буря гнала в ставок убитую грозой ворону.

Небо, со всех сторон подоженное молниями, ежеминутно рушилось на потрясенную землю.

Тем часом по селу, закинув вверх слепое, но оживленное безумьем лицо, шла против ветра мокрая до ниточки Любка Ременук. Она шла не спеша, в длинной праздничной юбке, в сорочке с расшитыми рукавами, вся в монистах и лентах. Буря вырывала их из слипшихся волос, черных, как деготь.

На каждом шагу она останавливалась и простирала к хатам руки, о которые вдребезги разбивался ливень.

Она пела страстным голосом нечеловеческой высоты и однообразия:

Ой, рано, раненько!
За горбодом дуб да береза,
А в горбоде червоная рожя.
Там Любочка да рожу щипае.
Пришла до ей матюнка:
— Покинь, доню, да рожу щипаты,
Хочу тебе за Василька отдаты.
— Я Василька сама полюбыла,
Куда пошла, перстень покатыла,
А где стала — другой положила...

И она продолжала брести, шатаясь и расталкивая коленями сильную воду.

Гроза гремела за полночь, то уходя из села, то вновь в него возвращаясь.

ГЛАВА XXVI
П О В С Т А Н Ц Ы

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій.

Шевченко. «Заповіт».

Поздней ночью в хату Котко постучали. Семен бросился к окну. При судороге отдаленной молнии он узнал платок Софьи. Он торопливо отчинил дверь. Она вбежала и обхватила его трясущимися руками. С ее волос на его рубаху текла вода.

— Семен, бежи!

— Что? Батька?

— Батька.

— Лютует?

— Хуже собаки. Ой, меня больше ноги не держат.

— Сядь.

— Бежи, за ради бога!

— Пей воду.

— Бежи, я тебе говорю...

Семен нашарил похолодевшей рукой на загнетке коробку серников. Она зашуршала.

— Стой. Не зажигай света. Может, с улицы смотрят.

Фрося и мать неслышно метались по хате, закладывая окна.

— Теперь свети, — прошептала Фрося, дрожа всем телом.

Маленькое беспокойное пламя каганца осветило хату с окнами, заложенными красными подушками.

Софья сидела на скамейке под печкой, быстро крутя на груди стиснутые руки, и облизывала губы. Ее глаза блестели сухо и дико на бледном лице, заляпанном грязью.

— Бежи, Семен, — говорила она скоро и монотонно, как в беспамятстве. — Бежи сегодня, бо завтра уже будет поздно. Бежи, пока ночь. За ради святого господа Исуса Христа, запрягай лошадей. Той старый чорт, той проклятый сатана — батька — доказал на тебя немецкому коменданту. Он бумагу ему на тебя подавал, и немецкий комендант сказал: гут¹.

¹ Г у т — хорошо (нем.).

— Так, — сказал Семен, глядя в землю, и губы его горько тронулись. — Так. Выходит дело, что должен я темною ночью запрягать в подводу коней и выезжать потихоньку, как тот вор, со своего же собственного двора. Было у меня родное семейство: мама-вдова, сестричка-сиротка и дивчина, с которою мы по нерушимой любви заручались. Была у меня какая ни есть хата, и хозяйство, и земля, моими руками поднятая и потом моим политая. А теперь, выходит дело, налетели на нас откуда ни возьмись теи злыдни, стали поперек крестьянской жизни и выжидают меня от моего счастья к чортовой матери, куда глаза смотрят, в ту темную ночь кочевать по степу, все равно как бродягу-цыгана или того серба с обезьяной. И должен я, не дожидаясь солнца, тикать из села, все на свете покинув — и мать родную, и сестричку-сиротку, и землю посеянную, и дивчину зарученную, и сватов своих, без погребенья повешенных на добычу воронам. — Тут Семен вспомнил свою батарею, командира Самсонова, прощальные его слова — и заплакал с досады.

Насухо вытер он концом бязевой солдатской рубахи слезы, выпил полную кружку воды и, стиснув мелкие зубы, заиграл скулами.

— Так нет же, злыдни, не дождетесь вы такого позора! Идите, мамо, на двор, положите в повозку сала и хлеба и потихонечку выведите из сарайчика клембовскую Машку. А ты, Фросичка, надень на ноги чоботы и раз-раз бежи до Ивасенков. Скажешь своему чорту Миколу, чтобы он той же секундой потихонечку завел до нас во двор своего Гусака. Я его думаю запрягать вместе с Машкой. Бо все равно того Гусака завтра заберут обратно в экономию.

Фроська проворно сунула ноги в громадные чоботы, но бежать ей не пришлось.

Дверь, которую забыли заложить палкой, приоткрылась, и в хату заглянула лохматая голова самого Миколы. Он увидел, что в хате не спят, но не удивился. Вряд ли в какой-нибудь хате люди ложились спать в эту проклятую ночь.

— Извиняйте, что заскочил в такое неподходящее время. Я до вас, дядя Семен...

С того дня, как Микола стал гулять с Фросей, он проникся к Семену страхом и уважением. Он не называл его иначе, как «дядя».

Микола был одет, как для дальней дороги, и его молодое, еще ни разу не бритое, почти детское лицо было полно суровой решимости.

— Я вам, дядя Семен, давал своего Гусака, когда вы ездили в Балту. Теперь позычьте мне вашу Машку. Я ее думаю запрягать вместе с Гусаком.

— А я только что до тебя Фроську посылал с тем же самым.

Семен внимательно посмотрел на хлопца.

— Собираешься куда-то ехать?

— Собираюсь.

— Посреди ночи?

— Эге ж.

— Куда?

— Куда бы ни было. И еще, дядя Семен, низко вам кланяюсь и не откажите. Видел я у вас добрый револьвер наган с патронами...

— А ну, выйдем на одну минуту из хаты, — сказал Семен, не дав Миколу договорить.

Они вышли, а не больше как через полчаса за кузней стояла подвода Семена, запряженная Машкой и Гусаком. Семен выносил из кузни и клал в подводу выкопанное оружие и шанцевый инструмент. Микола закладывал их соломой.

Софья кинулась к Семену на грудь.

— Не кидай меня тут. Забери с собою!

— Ни, Сою. За это и не мечтай. То не ваше женское дело, а наше — солдатское. Дожидайся меня, не журишься. Даст бог, скоро побачимся. Ще не долго тем злыдням хозьяйновать на нашей земле. С тем до свиданья.

Они обнялись и долго целовали друг другу мокрые от слез руки, как и в тот счастливый час их змовин.

Затем Семен низко поклонился матери, и мать низко поклонилась ему. А Фросе достался добрый братский тумак по спине.

Семен и Микола уселись в солому. Подвода тронулась. Но едва она обогнула кузню, как Фрося легче ветра полетела за ней и вскочила на ступицу.

— Так-таки мне ничего напоследок не скажешь? — шепнула она Миколу.

— Скажу то же самое: дожидайся и не журишься. Скоро побачимся.

— Куда ж вы, скаженные, едете?

— Будем живые — услышишь.

Микола ударил по коням, и подвода пропала в непроглядной темноте.

— Ну, кавалер, у тебя ще душа в теле или уже вышла наружу? — вполголоса спросил Семен своего будущего шурина, когда подвода выехала на площадь против церкви.

Ни одной звезды не виднелось на небе. Но дождя уже не было. Старая группа еле выделялась из темноты.

— А я и не чую, что такое за душа, — пробормотал шурин, вдруг осаживая лошадей. — Я ще не воевал.

— Хальт! — раздался вдруг рядом с подводой повелительный возглас немецкого часового.

И в тот же миг страшный удар прикладом обрушился на его голову в каске. Оглушенный часовой свалился без звука. Семен с драгунской винтовочкой в руках и Микола с солдатским наганом выскочили из подводы, наклонились над телом. Семен успел перехватить руку шурина.

— Не стреляй, дурень. Тихо. Без паники.

Микола сорвал с головы часового шлем и несколько раз подряд изо всех сил ударил по ней рукояткой револьвера. Потом он неслышно взобрался на дерево и перерезал складным ножом веревки. Два несгибающихся тела тяжело, но мягко свалились на мокрую травку.

Шурья уложили их на подводу, заложили соломой, а сверху поспешно кинули труп часового и погнали лошадей. Возле ставка они остановились и, раскачав немца, зашвырнули его в воду подальше от берега.

Осторожно выбравшись из села, они своротили с дороги в жито, сделали по степу несколько громадных кругов, чтоб сбить со следа, и наконец подались в глубь уезда, что есть мочи погоняя коней.

На рассвете, проехав верст восемнадцать, если не все двадцать, они достигли узкой и глубокой балки и спустились в нее. Место было глухое. Отсюда, продвигаясь по дну балки, можно было незаметно добраться до одного, не многим известного лесочка.

Стало развидняться. Солнце поднималось среди туч уходящей грозы. На колеса медленно наворачивалась толстая шина грязи с прилипшими к ней степными цветами.

Микола сидел, опустив голову и закрыв лицо руками.

— Боже ж мий, боже, — шептали его побелевшие губы, — прости мене кровь, пролитую моими же собственными руками.

— Вот и сразу заметно, что ты ще настоящей войны не чул, — строго сказал Семен. — Бога не проси, бо он тебе все равно не уважит. Даже разговаривать с тобой, с дурнем, не схочет. А люди тебе простят. Еще спасибо скажут.

Желтое солнце мутно сияло в узеньких серебристых, как бы суконных листиках дикой маслины, на которой качалась сонная горлинка.

За полдень они въехали в лесочек, и в ту же минуту из орешника выскочило человек пять с поднятыми ручными гранатами и винтовками наперевес.

— Стой! Кто такие?

— Сельчане.

— Це нам подходит. Куда едете?

— Туда, где злыдней нема.

— Ще больше подходит. Значит, до нас. Оружие е?

— Револьвер наган солдатского образца, драгунская трехлинейная винтовка, две ручные гранаты-лимонки и четыре немецких ружья — бис его знае, сколько они линейные.

Семен говорил чистую правду. Немецких винтовок было действительно четыре. Одна, доставшаяся от часового, а три остальные — как раз те самые, что пропали у немецкого патруля на змовинах матроса Царева и Любки Ременюк. Их тогда потянул и сховал в соломе не кто иной, как Микола.

— Це добре. Патроны до немецких винтовок тоже е?

— Патронов до немецких винтовок нема. Не сообразили разжиться.

— От, ей-богу, люди! И таскают, и таскают, и таскают теи немецкие винтовки, а чтобы кто-нибудь за патроны побеспокоился, то того нема. Продовольствие е?

— Сало е, хлиб.

— Це у нас у самих до чортовой матери. А случаем пулемета яког-нибудь нема?

— Пулемета нема.

— От, ей-богу, люди! Все равно, как маленькие дети! А ще что лежит в подводе?

Семен и Микола отгорнули солому. Люди заглянули в подводу и молча скинули шапки. Кое-кто перекрестился.



Люди заглянули в подводу и молча скинули шапки.

— Наша советская власть, — потупившись, сказал Семен. — Оба мои сваты. Оба меня заручали и оба меня змовляли. А на свадьбе гулять так и не пришлось. Ни им обоим не пришлось, ни мне. Налетели откуда ни возьмись теи злыдни и порушили всю нашу крестьянскую жизнь.

А подводу уже окружало не пять, а по крайности человек сорок беглых селян, собравшихся сюда из разных волостей и сел, в которых хозяйничали гайдамаки и немцы, для того чтобы с оружием в руках встать за свою долю.

В молчании, поскидав шапки, фуражки и шлемы, проводили они подводу в глубину леса, где были разбиты землянки и в казанах варился кулеш, и тут на поляне, под молодым дубом, схоронили матроса Царева и председателя сельского совета Ременюка, а на дубе вырезали их имена, крест и прибили матросскую шапку.

ГЛАВА XXVII

ПОД КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА

Лето кончалось. Шел последний летний месяц — август. «Товарищи! — говорилось в воззвании съезда революционных комитетов и штабов Киевской губернии к рабочим и крестьянам Украины в середине августа. — Пять месяцев тому назад Украинская Центральная рада, состоявшая из правых эсеров и меньшевиков, поддерживавших помещиков и капиталистов Украины, позвала немецкие штыки и с их помощью уничтожила Советскую власть. Уже пять месяцев господствуют они на Украине, и все пять месяцев их господства льется рабоче-крестьянская кровь во имя торжества капитала. За это время ими вырваны у трудового народа и растоптаны каблуком Гинденбурга¹ все революционные завоевания Советской власти.

«Земля отнята у крестьян и снова возвращена помещикам. Мало того: в каждую деревню были посланы гай-

¹ Гинденбург — главнокомандующий * германской армией во время мировой войны.

дамацко-немецкие карательные отряды, и обнаглевшие помещики с их помощью отбирают у крестьян последний хлеб и последнюю копейку. Они сторицей вернули себе то, что отнято у них было Советской властью в дни господства трудового народа.

«Их жадность ненасытна, и ненасытна их месть».

...От Ростова до Троянова вала и от Курска до Джанкоя и дальше, вплоть до самого Черного моря; по-над батькою Днестром, по-над тихим его братом Доном и по-над быстрым его братом Днестром; среди шведских могил и скифских курганов; вокруг мазанных мелом хат, примостившихся в тени пирамидальных тополей и акаций; вокруг одиноких степных ветряков; вдоль некошенных балок, где за полдень, как в люльке, спит лиловая тень тяжелого облачка, — словом, по всей богатой, обширной и красивой Украине в свой срок заколосились хлеба, зацвели, побелели на зное, склонились, и скоро украинские поля из края в край уставились соломенными ульями копиц, и вся Украина, как необозримая пасека, заблестела под убывающим солнцем.

Но не радовались люди в этот страшный год красоте и обилию своей земли. Сеяли свободными, а убирать урожай довелось рабами...

«Теперь для всех трудящихся Украины стало ясно, что они потеряли с Советской властью», — говорилось дальше в том же воззвании.

«И сердце рабочих и крестьян снова горит желанием бороться за Советскую власть, штурмом взять себе прежнюю крепость революции.

«Не сегодня — завтра немцы увезут весь хлеб с крестьянских полей.

«Хлеб останется только у богатых. Рабочие и бедные крестьяне хлебобродной Украины будут умирать с голоду, а помещики будут считать марки и кроны за крестьянский хлеб. Всем должно быть ясно, что если еще хоть неделю похозяйничают немцы и помещики со Скоропадским во главе, — то нам неминуемо грозит голодная смерть.

«Теперь или никогда!

«Через неделю будет поздно. Мы должны немедленно поднять массовое восстание, вступить в бой с врагами трудового народа. Кроме цепей, нам терять нечего. Или мы, как рабы, как скот, будем умирать голодные, умирать под ликование мировой буржуазии, или, на радость миро-

вому пролетариату, мы сбросим наших угнетателей и завоюем царство труда и свободы — Советскую власть. В этот момент уже началось восстание по селам и деревням».

Бил народ панских сынков гетмана Скоропадского под Коростенем. Богунцы под Киевом и Щорс вместе с баткой Боженко на Черниговщине наводили ужас на гайдамаков и немцев, захотевших попробовать украинского хлеба и меда. На север от Могилева-Подольского, в области Куковки, Церебиловки и Немирца, восстало две тысячи селян. Той же ночью под Проскуровом под откос свалился поезд. За Лубнами горели помещичьи скирды.

Вылезли из-под земли с ног до головы черные шахтеры Донбасса и посмотрели на солнце отвыкшими от света, белыми глазами.

Луганский слесарь Клим Ворошилов, бившийся с врагами весной под Змиевом, теперь собрал вокруг себя целую армию и с боем шел к Царицыну на ссединение с другом своим товарищем Сталиным, чтобы в должный час вместе ударить на злыдней.

И где только ни показывались над степью его выжженные солнцем и пулями подранные знамена, всюду навстречу им выходили рабочие и селяне.

Выходили из-под земли и шли навстречу по рельсам отвыкшие от белого света шахтеры. Шли, таща за собой пулеметы и ведя крестьянских коней, одичавшие в лесах, до самых глаз заросшие и пять месяцев не выдавшие бани партизаны. Шли целыми взводами беглые солдаты ненавистной гетманской армии. Шли с Кубани и Дона казаки, вставшие за свою долю.

Шли и становились под те славные знамена и напи-вали поперек шапок червонные ленты.

ГЛАВА XXVIII
ВЕНЧАНЬЕ

Копав, копав крiниченьку
Недiленьку, двi,
Кохав, кохав дiвчиноньку
Людам — не собi.

Украинская песня.

В том лесочке, где под молодым дубом схоронили матроса Царева и председателя сельского совета Ремеюка, теперь уже пряталось не сорок человек, а жило, самое малое, человек полтораста, если не считать двух отчаянных баб, не захотевших далеко отпускать от себя своих чоловиков¹ и основавшихся тут же, вместе с детьми и овцами.

Это уже не была маленькая шайка беглых, но — хорошо вооруженный повстанческий отряд с собственным штабом, походной кухней, пулеметной командой, конницей и артиллерией.

Артиллерию представляла горная пушка, которую наш богатый партизанский отряд выменял у пробиравшегося мимо лесочка другого, бедного партизанского отряда на два ручных пулемета, четыре немецкие винтовки, австрийскую палатку и шесть фунтов сала.

Пушка была без передка, без зарядного ящика, и к ней не имелось ни одного патрона. Но ходили слухи, что за восемнадцать верст, в селе Песчаны, у одного человека в погребе закопан целый лоток подходящих патронов, так что была надежда как-нибудь выменять и этот лоток.

Пушкой командовал Семен Котко. Он учил молодых, еще не побывавших на войне хлопцев ставить прицел и обращаться с оптическим прибором.

В лесочке, возле молодого дуба, под брезентом стояли отбитые у немцев интендантские повозки, двуколки, мешки с мукой и сахаром, ящики табака, бочки керосина. Если бы не пулеметы, расставленные на опушке, и не кони под военными седлами, привязанные к деревьям, то легко можно было подумать, что это раскинул свою лавочку странствующий бакалейщик.

Теперь лесочек, как полагается по всем правилам позиционной войны, соединялся с балкой глубоким и со-

¹ Чоловик — муж.

стороны незаметным ходом сообщения. На дереве с рогатой трубой день и ночь сидел наблюдатель. У входа в землянку, с надписью на фанерном листе химическим карандашом «Штаб отряду», стоял на коленях Микола Ивасенко в солдатской фуражке козырьком на ухо и плачевным голосом кричал в полевой телефон Эриксона:

— Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Наблюдательный! Та наблюдательный же, ну тебя, на самом деле, к бису!

Но наблюдательный не отвечал.

Микола обругал «той проклятый эриксон, чтоб ему на том свете так разговаривать», и пошел проверять линию.

В тот день штаб отряда с нетерпением ожидал конного разведчика, тайно посланного для связи с подпольным губернским ревкомом. Уже давно отряд был готов к выступлению. Нехватало только артиллерии и точной боевой задачи. Но еще на прошлой неделе губернский ревком сообщил, что на соединение с отрядом идет легкая батарея Красной армии, застрявшая на Украине и пять месяцев отсиживавшаяся от германцев и гетманцев по лесам и глухим пограничным уездам Приднестровья.

Сейчас это может показаться невероятным, но в то легендарное время, когда в иных крестьянских дворах, случалось, были спрятаны в сене, дожидаясь своего часа, четырех-с-половиной-дюймовые гаубицы с полным комплектом снарядов, — ничего необыкновенного в этом никто не видел.

Таким образом, за артиллерией дело не стояло. Батарея должна была приехать вот-вот. На крайний случай можно было бы ударить и так, с одними пулеметами.

Дело стояло за боевым приказом. Легко можно себе представить, с каким нетерпением весь отряд дожидался конного разведчика.

Между тем наблюдательный пункт не отзывался по довольно простой причине: наблюдатель, сидя на дереве, разговаривал с худой рыжей девчонкой лет четырнадцати, вдруг появившейся на опушке.

Она была в лохмотьях, покрытых густым слоем тяжелой августовской пыли. Длинные босые ноги с черными, сбитыми в кровь пальцами показывали, что она пробежала не один десяток верст. Пот бежал по черному носу и по костистым вискам. Рот, открывшийся, как у рыбы,

дышал тяжело. Зеленые глаза на воспаленном лице казались почти белыми.

Если бы не аккуратная ситцевая лента в рыжей косе, не круглый железный гребешок в волосах надо лбом, ее можно было бы признать за деревенскую побирушку.

— Стой! — закричал наблюдатель.

— Стою, — ответила девочка.

— Подойди к дереву.

— Уже подошла.

— Ты что в нашем лесочке делаешь?

— Брата своего шукаю.

— Та у тебя повылазило, чи шо? Какой может быть брат, когда тут позиция! Вертай назад, откуда пришла.

— А тут кака позиция? Гайдамацкая чи селянская?

— Селянская.

— Мне селянскую позицию и треба.

— Фрося?! — произнес вдруг Микола, как раз вышедший в это время к наблюдательному пункту. — Накажи меня бог, Фроська... — И он, повернувшись лицом к лесочку, закричал: — Гэй, Семен! Бросай орудию, — до нас Фросичка пришла!

С этими словами он отвел девочку на бивак. Она еле шла, при каждом шажке покусывая губы.

Едва Семен увидел сестру, как предчувствие несчастья охватило его.

— Здравствуй, Фрося. Что там у вас случилось? Какое происшествие? — сказал Семен, всматриваясь в ее лицо.

— Все, слава богу, пока благополучно, — ответила Фрося, озираясь по сторонам блуждающими глазами. — У вас тут нигде нема водички напиться?

Она крепко зажмурилась, как бы перемогаясь, оскалила стиснутые зубы, но не перемоглась, и вдруг рыданья вырвались и потрясли ее с ног до головы.

— Ой, люди! Нема больше сил терпеть, что теи проклятущие злыдни над нами роблят! Позабирали все чисто, куска хлеба нигде не оставили. Люди в степь идут — панский хлеб убирать, — так не могут итти, от голода падают на землю. А гайдамаки их прикладами поднимают и гонют, та еще насмеваются. Люди все с себя поскидали и последнюю вещь из хаты на базар отнесли, чтобы гроши собрать на уплату Клембовскому. А у кого грошей нема заплатить, тех не пожалели никого — ни старого старика, ни маленького хлопчика, ни женщину с грудным дитём.

Всех чисто загнали на двор в экономию Клембовского, по-одиночке вызывали в сарай и там клали на мешок с овсом, пороли. Два человека держали за руки, два — за ноги, один — за голову, а один бил до тех пор, пока человек уже не уставал кричать. Бил кого батогами, а кого шомполом. Ой, Семен, брате мий родный! Все чисто у нас позабирали. Ничего не оставили. И за лошадь ще триста карбованцев наложили заплатить, а как у нас гробшей не было, то и нас с мамой тоже таскали в тот сарай и били батогами, пока мы не устанем кричать. Меня ще, слава богу, били недолго — бо я скоро устала кричать и сомле-ла. А мама, как она кричать не схотела, то били ее долго и над нею насмехались гайдамаки. Совсем ее покалечили, так, что она уже больше работать не может. И она теперь с торбою ходит по волости по всех дорогах, просит у людей, кто что подаст. И ей никто не подает, потому что самим нечего кушать. А Софью Ткаченко ее батька выдает замуж за самого помещика Клембовского.

Помутилось в глазах у Семена.

— Стой! Сама Софья схотела?

— Ни. Ее батька насильно заставляет. Он ее в погреб посадил и держит вторую неделю. Запрошлую ночь я потихоньку до Ткаченко во двор перелезла — с Сонькой через замок разговаривала. И она через замок сильно плакала и мне сказала: «Ради бога, — сказала, — бежи, Фросичка, до Семена, найди его где хотишь и передай, что злыдни нас разлучают. Передай ему, что, может, он за меня уже и думать перестал, но я за него ночей не сплю и все думаю и надеюсь на него одного, что он меня отобьет. И еще передай ему — пускай торопится».

— Когда свадьба?

— Зараз. Сегодня вечером в нашей церкви будут венчаться.

— Ще мы это побачим! — закричал Семен и было поворотился, чтоб бежать до командира, но тут же увидел его самого вместе со штабом и всех бойцов, в молчании стоявших вокруг.

— Товарищ командир и товарищи бойцы, слушали вы все это?

— Слушали.

— А когда слушали, то чего ж вы доси стоите и не садитесь по коням? Товарищ командир, Зиновий Петрович, подымай отряд!

— Ни, Семен. Без приказа губревкома и без артиллерии поднять отряд не имею права. Бо этот отряд принадлежит не нам с тобой, а принадлежит он всему трудовому народу и в первую очередь советской власти. Такая есть воинская дисциплина. Ты это, Котко, как старый солдат, должен добре сам понимать.

— Значит, выходит дело, что через твою воинскую дисциплину пропадает моя доля?

— Ни, Семен. За свою долю бейся сам. Забирай любую бричку с нашего парка, запрягай пару каких завгодно коней, хоть самых наилучших, ставь пулемет с патронами. И с богом. Я против этого ничего тебе не скажу.

И не успел еще командир дойти до своего куреня, как уже из лесочка вылетела наилучшая поповская бричка на паре наилучших трофейных коней.

Микола и Фроська сидели на козлах. Семен, припав к пулемету, подпрыгивал на заднем сиденье. Скамеечка против него пока что была пустая и в любой момент могла принять четвертого пассажира.

А солнце уже перешло за полдень. Степной ветер свистел в ухах. И навстречу наилучшим трофейным коням Семена, высоко над жнивьем, распустив гривы и надув белоснежные груди, летели в пустынном небе кочевые табуны облаков.

Солнце совсем наклонилось. Вот оно скользнуло по далеким курганам и кануло за край степи.

Суслик в последний раз выглянул из своей норки и нежно повсвистел.

— Микола, погоняй, не жалей! Давай им хорошего кнута!

— Я не жалею!

Пена срывалась с лошадиных морд, улетала вверх и садилась в степи на бессмертники.

Красная звезда Марс показалась в небе.

Тем же ходом, как выскочила за полдень из лесочка, вылетела бричка в темное село. Одна только церковь посреди него горела золотыми кострами окон. Народ на паперти ахнул, узнав Семена. Он на ходу выскочил из брички с лимонкой в каждой руке.

— Повенчали?

— Ще ни. Только что жениха встретили.

Семен вошел в церковь и тотчас увидел Софью. Убранная монистами и лештами, с головою, покрытой серпян-



Семен, прижав к пулемету, подпрыгивал на заднем сиденье.

кой¹, она стояла перед налоем рядом с Клембовским. Жених был в алом ментике с доломаном и с украшенной вензелем лядункой² у лакированного голенища.

Положив перед собой лазурную руку на саблю, а другою рукой прижимая к груди боевую гусарскую фуражку, Клембовский выставил колено и чуть наклонил узкую голову, над которой чья-то рука в белой перчатке держала венец.

Трескучий жар множества свечей непривычным заревом наполнял бедную деревенскую церковь. Даже всевидящее око в треугольнике желтых лучей и бог Саваоф посреди звездного неба, грубо написанного синькой в куполе церкви, — были ясно видны Семену.

Но больше он ничего не заметил. Все остальное слилось для него в одно безотчетное впечатление печального праздника.

— Сонька, бежи до мене! — закричал Семен, поднимая над головой гранату.

Софья как будто только этого голоса и дожидалась. Не вздрогнув и не вскрикнув, она проворно обернулась и, расталкивая людей, бросилась навстречу Семену. Она подбежала и схватила его за рукав.

— Подожди. Не чипляйся, — с досадой пробормотал он. — Бежи зараз на улицу в нашу бричку.

Один миг — и девушка уже была на улице. Но общее оцепенение прошло. К Семену кинулись. Семен увидел близко возле себя Ткаченко в полной парадной форме. Форма эта была странная. Гайдамацкая. Четыре георгиевских креста попрежнему лежали поперек груди. Погоны были старой армии, но только не фельдфебельские, а — офицерские, золотые, с одной звездочкой.

Семен ударил Ткаченко локтем в грудь и замахнулся гранатой.

— Побережись, бо покалечу! — крикнул он.

Люди шарахнулись от него. Он выбежал на паперть и оттуда через открытые настежь двери с силой швырнул гранату назад, в самую середину церкви.

Страшным рывком воздуха задуло свечи. Стекла выскочили из рам. Паникадило посыпалось.

А Семен уже вскакивал в бричку, где, обхватив пулемет окоченевшими руками, лежала Софья.

¹ Серпанка — фата, венчальное покрывало.

² Лядунка — предмет гусарской амуниции.

— Езжай!

— Езжаю!

Коня помчались.

С наперти вслед беглецам захлопали выстрелы. Пули пропели почти неслышно, заглушенные свистом ветра.

Бричка поровнялась с кузней. Дальше отрывалась степь. И в тот же миг из-за кузни наперерез бричке ударил конный разъезд гайдамаков. Бричка стала. Семен не успел опомниться, как был повален на землю и скручен. Двое гайдамаков рубили шашками построжки. Трое — тащили с козел Миколу, который отбивался кнутом. Сомлевшая Софья неподвижно лежала поперек дороги, белея в темноте упавшей с головы серпянкой. Через пять минут все было кончено.

И никто не заметил Фроськи.

Как только разъезд гайдамаков ударил из-за кузни, девочка спрыгнула на ходу с брички и легла к дереву.

Трофейные кони, волоча обрубленные в спыхах построжки, прошли мимо нее. Она подобралась к одной из лошадей, схватилась за гриву, вскарабкалась, взмахнула локтями, ударила изо всех сил босыми пятками под брюхо и пропала в темноте.

Пленников отвели в село.

ГЛАВА XXIX

С У Д

Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволи...

Шевченко.

А на другой день, не взошло еще солнце, как за селом на шляху встала черная туча пыли. На этот раз шла не только немецкая пехота и кавалерия, — немецкая гаубичная батарея снималась с передков в полуверсте от села на кургане.

И едва только над степью брызнули первые солнечные лучи, как в хрустальном воздухе заиграл военный рожок.

Десять гаубичных выстрелов сделали немцы по селу. Пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Котко, подняли

его на воздух и срыли с лица земли, только черная яма осталась. Другие пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Ивасенко, подняли его на воздух и тоже срыли с лица земли, только черная яма осталась.

И военный рожок сыграл отбой.

А возле полудня в село на двух экипажах, окруженных драгунами, въехал немецкий суд.

На открытом крыльце клембовского дома поставили стол и четыре стула. Стол покрыли привезенным с собою синим сукном и разложили карандаши и бумаги.

На стулья сели председатель военно-полевого суда обер-лейтенант фон-Вирхов, докладчик — прокурор господин Беренс и защитник — агрономический офицер лейтенант Румпель.

Четвертый стул занял переводчик, чиновник министерства земледелия гетмана Скоропадского, господин Соловьев. Правая рука его висела на черной косынке. Как шафер он находился в церкви и был оцарапан при взрыве. Вследствие этого он вынимал портсигар и закуривал левой рукой.

Два свидетеля находились тут же. Раненный в голову ротмистр Клембовский лежал, забинтованный, на походной кровати. Рядом с ним стоял навытяжку прапорщик Ткаченко — целый и невредимый.

Семена Котко и Миколу Ивасенко ввели под конвоем и поставили перед судом.

— Альзо, — сказал обер-лейтенант фон-Вирхов и воздушным движением посадил в глаз свое стеклышко.

— Не теряя времени, — перевел Соловьев, закуривая левой рукой.

Суд продолжался четверть часа.

— Так вот какое дело, братцы, — сказал наконец Соловьев, вставая, и приблизил к глазам лист бумаги, исписанный карандашом. — Объявляется приговор. «Крестьянин Семен Котко и крестьянин Николай Ивасенко за нападение и убийство немецкого часового — раз, за незаконное хранение оружия — два и за налет на церковь во время богослужения, при котором от взрыва ручной гранаты ранены ротмистр Клембовский и чиновник министерства земледелия Соловьев, что полностью подтверждается свидетельскими показаниями, а также признанием самих подсудимых, — германским военно-полевым судом приговариваются к смертной казни через расстрел.



Семена Котко и Миколу Ивасенко ввели под конвоем и поставили перед судом.

Приговор привести в исполнение публично через два часа. Председатель суда обер-лейтенант фон-Вирхов». Все. До свиданья.

Обер-лейтенант махнул перчаткой. Семена и Миколу увели обратно в сарай.

— Ну, теперь я тебя могу спросить, — с трудом размыкая очерствевшие губы, сказал Микола, когда они остались одни и сели на солому: — у тебя ще душа в теле, чи ни?

— Моя душа уже с четырнадцатого года вышла наружу, — пытаюсь улыбнуться, ответил Семен.

— А моя ще держится, — прошептал Микола и вдруг положил голову на плечо Семена. — Ой, боже ж мий, боже! Разве гадал я ще на прошлой неделе, что не минует меня сегодня германская пуля! — И он заплакал, про себя, как ребенок.

— Цыц, — строго сказал Семен. — Нехай люди не чуют.

Он отвалился головой к стенке сарая, раскинул по соломе ноги и, поправив за спиной связанные руки, запел вызывающе громко и вместе с тем заунывно старую украинскую песню, знакомую смолоду:

Бул у мене коняка,
Бул коняка-разбийжака,
Була шабля тай ружниця,
Тай дивчина-чаривниця...

Время двигалось странно. То оно несло с неслыханной скоростью, так, что леденело сердце, то вдруг останавливалось и повисало над головой всей своей непереносимой тяжестью. Так прошел один час, и уже второй час был наизлете. Недалеко на селе проиграл военный рожок.

Загремел засов. Дверь отворилась. В гайдамацкой шапке с красным верхом вошел Ткаченко.

— Что, Котко, песни спиваєшь? — сказал он, остановившись против Семена. — Торопись спивать, а то время у тебя уже мало остается.

Ничего не ответил ему на это Семен. Ткаченко прошелся перед ним туда и обратно, как перед фронтом, и снова остановился, тремя пальцами разглаживая ус.

— Не хотишь со мной розговаривать? Довольно глупо. Может быть, ты до меня что-нибудь имеешь, а я до тебя ничего не имею. Жалко мне тебя, Котко, в твой последний час.

— Пожалел волк кобылу, оставил хвост тай гриву. Не треба мне этого. Вертай назад, откуда пришел, чтоб я в свой последний час не видел твоей поганой морды.

— Опять же глупость. Дурак ты, Котко, дурак. Как был всегда дураком, так дураком и выйдешь сейчас перед пехотным взводом.

— Жалко, что руки мне теи злыдни поскручивали, — прошептал, скрипя зубами, Микола.

Но Ткаченко даже прямым взглядом его не удостоил, а лишь только покосился с усмешкой.

— И, если хочешь, Котко, я тебе могу сказать в твой последний час, — продолжал он, — в чем есть твоя деревенская дурость. Не понял ты, Котко, политики. Не сварил котелок. Залетел ты в своих думках чересчур высоко. Захотелось тебе сразу получить все счастье, какое только ни есть на земле. Очи у тебя, Котко, сильно завидующие, а руки еще сильнее того загребущие. Увидел ты красивую дивчину и сразу же до нее своими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что, может быть, тая дивчина — богатая дочка образованного человека, твоего непосредственного начальника, и она до тебя, бедняка, не пара. Затем увидел ты клембовскую гладкую худобу¹ и клембовскую хорошую землю и сразу же их своими холопскими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что эта гладкая худоба, и эта хорошая земля, и эти новые сельскохозяйственные машины есть священная, нерушимая собственность хозяина нашего, царем и богом над нами поставленного господина Клембовского. Но и этого показалось мало завидушим твоим глазам и загребушим твоим рукам. Увидел ты дальше, Котко, власть; власть — надо всем, что только ни есть на земле, под землей, в воде и на море; понравилась тебе тая власть, и ты пошел до своих святых, до разбойников-большевиков, в их совет депутатов и вместе с ними подлыми своими руками тую божескую власть — цоп! И вот до чего тебя это все привело, Котко. А умные люди как поступают? Возьми меня. Я присягу свою свято исполнял. Я в думках своих чересчур высоко не залетал, а если когда и залетал, то держал это при себе. Я начальству своему уважал. Я чужую священную собственность сохранил, как зеницу ока. Я муку через то от людей принимал. И я достиг. А ты не достиг. Кто теперь есть ты и кто я?

¹ Х у д о б а — скот.

Я теперь получил за верную службу от его светлости ясно-вельможного пана гетмана Скоропадского эти офицерские погоны. Я Соньку выдам за дворянина и сам дворянином, даст бог, сделаюсь по прошествии времени. А ты в неизвестной могиле сгинешь, как тая падаль.

— Бреешь! — закричал Семен, вскакивая. — Бреешь, шкура! Я из могилы вырؤсь за свое счастье и костями буду душить вас, гадов!

Тут во второй раз проиграл на селе военный рожок.

— Мало твоего остается, Котко, мало. Может быть, и до десяти минут нехватит. Попрощаемся лучше навеки, как нам господь наш Иисус Христос советует, ничего не имея друг на друга. Один раз ты меня уважил...

— Вот тогда я был главный дурак, когда уважил.

— Другой раз я тебя уважил. Третий раз опять ты меня уважил...

— И опять был дурак.

— Теперь я тебя в последний раз уважу. Закури, Котко, чтоб дома не журились.

Ткаченко вынул серебряный портсигар, достал из него папиросу и протянул ее к лицу Семена, желая вложить в рот. Но Семен резко отвел голову.

— Не треба! — крикнул Семен. — А за все твои слова, шкура, плюю в твои поганые очи.

И Котко плюнул в лицо Ткаченки.

Ткаченко отвернулся, вытерся носовым платком и ударил Семена нагайкой наотмашь поперек лица.

ГЛАВА XXX

ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ

Фрося скакала через степь не останавливаясь.

Она изо всех сил колотила пятками лошадь, надеясь как можно скорее доскакать до отряда и выпросить помощь. Но не отъехала она от села и пятнадцати верст, как в степи показались огни.

На всем скаку трофейный конь внес ее в лагерь. Вокруг горели походные костры. Стояли пушки, не снятые с передков. Конь радостно заржал и остановился. Девочку окружили люди.

При свете костров многие лица показались Фросе знакомыми. Один отчетливо напоминал ей наблюдателя, с которым она разговаривала утром на опушке лесочка; другой был вылитый командир отряда; две бабы с детьми на руках и черные овцы со связанными ногами в повозке стояли перед глазами, как сон, приснившийся во второй раз.

Фрося сползла с лошади, пробормотала: «У вас тут нигде нема водички напиться?», легла на землю и в тот же миг заснула.

Это был действительно тот самый повстанческий отряд. Через час после отъезда Семена прискакал, наконец, разведчик, привезший в шапке приказ губернского ревкома выступать. Отряд немедленно выступил и только что соединился с подоспевшей батареей.

Командир взглянул на обрубленные построения, крикнул, подхватил спящую девочку подмышки и положил на подводу с бабами и овцами. Затем кинул на свои командирские плечи бурку и поднял отряд.

Отряд двигался медленно и осторожно. На рассвете он остановился в балке, верстах в семи от села. За одну эту ночь отряд увеличился втрое. Сельчане со всех сторон выходили в степь ему навстречу с конями и оружием и надевали поперек шапок червонные ленты. Теперь в отряде уже было не меньше как пятьсот бойцов, не считая батарейцев.

Разведка, высланная вперед, побывала в селе и к полудню вернулась. Она донесла, что Семен и Микола сидят, запертые в клембовском сарае, и ждут немецкого полевого суда.

Одну сотню командир поставил на правый фланг и одну сотню — на левый. Одну сотню послал в глубокий обход и приказал появиться у злыдней с тыла. Нового командира батареи попросил быть настолько ласковым поставить свои пукалки возможно ближе и крыть по злыдням так, чтоб из них душа наружу. Себе же взял остальное, с тем чтобы со всеми бричками, пулеметами, бабами и кухнями ворваться в село с фронта.

В третий раз на селе проиграл рожок.

И вдруг с колокольной раздался набат. Кто-то с поспешным отчаянием колотил в церковный колокол.

Ткаченко прислушался.

В это время низко над сараем со свистом пронесся сна-

ряд и в тот же миг середине двора разорвался. Ухо артиллериста не могло ошибиться: была русская трехдюймовая пушка. Второй снаряд попал в скирду. Из нее повалил густой опаловый дым. Протяжный вой сотни голосов долетел из села. Его прострочила короткая очередь пулемета. Третий снаряд пролетел над сараем и ударил в клембовскую крышу: Ткаченко согнулся и бросился вон.

Послышалась торопливая немецкая кавалерийская команда. Немецкий эскадрон рысью выезжал со двора.

От горящей скирды несло жаром. Семен и Никола переглянулись и осторожно вышли из сарая. Часовых не было. Двор был пуст. Набат не переставал ни на минуту.

Едва ударило первое орудие и над степью резнул первый снаряд, как с правого фланга и с левого, с тыла и с фронта, со всех четырех сторон, с воем и свистом посыпались в село партизанские сотни.

И впереди всех, сидя боком на бричке, с раздутыми усами и в железных очках, въехал в село командир Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный от пыли в бурку.

Соединенный гайдамацко-немецкий отряд отступил в панике. Комендантские экипажи насилу выскочили из села, увозя немецкий суд, а вместе с ним и ротмистра Клембовского.

А церковный колокол продолжал звонить и звонить безустали, точно в него с нечеловеческой силой и упрямством колотил внезапно сошедший с ума понамарь. Две женские фигуры металась на колокольне. Одна — высокая костлявая старуха в лохмотьях и с торбой на спине; другая — молодая, вся в монистах и лентах, с развевающимися за плечами серпанкой.

Это были мать Семена и Софья. Взявшись за руки, они без передышки, как заводные, раскачивали язык колокола, крича во весь голос одно и то же:

— Ратуйте, люди! Ратуйте, люди! Ратуйте!

Их силой оторвали от веревки и стащили вниз.

Первые же хлопцы, на бричке с пулеметом вскочившие в клембовский двор, развязали Семена и Миколу. Они подхватили на бричку своих пропавших товарищей, которых и не чаяли видеть живыми, и поскакали к церкви, где Зиновий Петрович тем часом уже разбил ставку и за-

нимался своим любимым делом — принимал пленных и трофеи.

— Ну что, герой, отвоевал свою долю? — спросил Зиновий Петрович, глядя строго поверх очков на Семена.

Но ничего не успел ответить Семен своему командиру по той причине, что как раз в самую эту минуту увидел свою мать и Софью, пробивавшихся к нему сквозь толпу. Они подошли и остановились близко, рассматривая его с ужасом, как привидение.

— Ой, Семен, — бормотала Софья, крутя и выворачивая на груди руки, — ой, Семен, любимый мой, целый, не убитый...

Она рванулась к нему, но Семен, покосившись на командира, строго натужил скулы и сказал:

— Ты подожди ты, ради бога, Соня. Видишь — я как раз с командиром разговариваю. Стань пока рядом с мамой. Эти бабы! Через них только одна паника, и ничего больше.

В этот миг народ подался на стороны, и пять хлопцев поставили перед командиром прапорщика Ткаченко, только что захваченного в степи.

— Це что такое за диво? — сказал командир, с ног до головы оглядывая Ткаченко. — А ну, человек, повернись трошки, покажись людям, — может, они тебя узнают и щось про тебя хорошее скажут. Чтоб мы знали, куда тебя отсюда отправлять — направо или налево.

— Свободно может не повертаться, — сказал Семен. — Мы с этой шкурой добре знакомы. Не один раз бачились. Совсем недавно, может, час назад, в том смертном клембовском сарае он со мной разговаривал. Ще зарубка на морде держится.

— На твою совесть, — сказал Зиновий Петрович. — Как скажешь, так и сделаем. Направо или налево?

— Налево, — сказал Семен.

Услышал эти слова Ткаченко, упал на колени. Но хлопцы подхватили его под руки и поставили.

— Налево, — сказал Зиновий Петрович.

Ткаченко увели за церковь.

Софья закрыла глаза руками и отвернулась. За церковью ударил выстрел.

— Теперь так, — сказал Зиновий Петрович своему штабу: — война наша ще далеко не кончена, а лишь начинается. Думаю я, пока немцы не очухались, очистить село

и прямым ходом рвать под станцию Кодьму, сделать им на железной дороге неприятность, чтобы до ихней Германии не доехало наше украинское жито. А ты, Семен, пока наша артиллерия меняет позицию, бежи и явись в распоряжение батарейного командира, а то он там горько плачет без хороших наводчиков. Стой. Ще не все. Два слова за твоих баб. Они могут сесть на подводу и находиться при обозе второго разряда, где у нас уже, слава тебе господи, есть тех отчаянных женщин боле чем треба. Теперь сполняй.

ГЛАВА XXXI

ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА...

Пушки стояли в степи за селом среди еще не вывезенных копий жита.

Командир шагал по стерне с bussолью¹ подмышкой, разбивая фронт батареи. Это был хромой человек в черных шароварах с красным кантом и в шведской куртке с бархатными артиллерийскими петлицами. Громадная русая борода казалась привязанной к коричневому от солнца лицу с белым пятном на том месте, которое закрывал козырек. Но в степи было жарко, и командир батареи держал фуражку в руке. В его белой, наголо обритой голове отражалось солнце.

При виде трехдюймовых пушек Семен подтянулся и по старой артиллерийской привычке подскочил к батарейному чортом:

— По приказанию товарища командира соединенного партизанского отряда явился в ваше распоряжение бомбардир-наводчик Котко.

Веселое изумление мелькнуло в юношески голубых глазах командира батареи.

— Очень приятно, Семен. В таком разе принимай свое третье орудие. Ставить прицел не разучился?

— А вы кто такой будете?

— Кто такой буду, не знаю, а сейчас девки дразнятся — Самсоновым. Да ты чего на меня вылупился? Аль борода моя тебе не показалась?

¹ Буссоль — прицельное артиллерийское приспособление для наводки.

— Вольноопределяющий Самсонов! — закричал Семен.

— Он самый. Борода для красоты.

— А батарея?

— Она самая. Дорогая, полевая, трехдюймовая.

— И орудия моя?

— Тут.

— Ах ты ж, боже мий! Ни за что бы на свете не подумал того! — воскликнул Семен, вытирая ладонью глаза. — Ну что ты скажешь? Шел солдат с фронта, тай пришел обратно на фронт!

— Я ж тебе предлагал, чудаку, остаться. Ну чего ты поперся?

— Сеять.

— И что же, посеял?

— Посеял.

— А собирали другие?

— Другие.

— Видишь, какие дела. Ну, да ладно. А сейчас мы с тобой молотить начнем. Становись к своему орудью. Сдается мне, что вон по тому бугорку какие-то упряжечки к нам спускаются. — И Самсонов, надев скоро фуражку, закричал молодёцки: — Батарея, к бою! Прицел семьдесят. Прямой наводкой. По немецкой гаубичной батарее. Гранатой! Не подкачай, Семен. Два патрона беглых!

Припал Семен — плечо к колесу — к своему орудью, и даже сердце у него захолонуло. Каждую отметинку, каждую царалинку на щите и на колесе узнавал он и считал, как мать узнает и считает каждую кровинку на теле своего ребенка.

В один миг навел Семен орудие, вогнал унитарный патрон¹, хлопнул затвором и взялся за шнур.

— Огонь!

Сноп красного огня выскочил из подпрыгнувшей пушки. Батарея ударила два патрона беглым. Один — и следом за ним другой. Прильнул Семен глазом к прицелу.

Шесть черных деревьев выросло из земли перед самой немецкой батареей по первому выстрелу. И шесть черных деревьев выросло из земли по-за самой немецкой батареей по второму выстрелу.

— Огонь!

И шесть черных деревьев выросло из самой немецкой

¹ Унитарным патроном называется такой патрон, в котором гильза соединена со снарядом в одно целое.

батареи по третьему выстрелу. Полетели вверх обломки зарядных ящиков. Полетели колеса. Упали и забились, запутавшись в постромках, уносные лошади. Побежала прислуга.

— Молодец, Семен! Молоти еще! Домолачивай! Два патрона беглых. Огонь!

А уж с горки, наперерез откуда ни возьмись появившейся немецкой цепи, сыпалась сотня за сотней, и впереди всех, на бричке, ехал Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный в черную бурку.

И побежали немцы во второй раз за этот день. Но, как правильно сказал Зиновий Петрович, война еще была далеко не кончена, она лишь начиналась.

Два месяца пришлось еще бить немцев и с фронта и с тыла, и с правого фланга и с левого, прежде чем они окончательно и навсегда не очистили Украину. Рассказать же об этом во всех подробностях — дело не поэта, но историка.

Мы же к своему рассказу можем прибавить только то, что отряд Зиновия Петровича сначала превратился в бригаду, затем в дивизию и со славою кончил свою немецкую кампанию в конце октября, целиком вступив под знамена Рабоче-Крестьянской Красной армии. Батарея товарища Самсонова развернулась в дивизион; Семен Котко был назначен командиром одной из батарей. Он взял к себе старшим телефонистом друга своего Миколу Ивасенко. Что касается до баб, — до Софьи, Фроси и Семеновой мамы, — то бабы еще долго ездили за отрядом в обозе второго разряда. Это, конечно, не полагалось по уставу, но Зиновий Петрович сделал исключение и уважил Семену во внимание к его храбрости. В том же обозе второго разряда в середине девятнадцатого года Софья родила Семену сына. В честь товарища Ременюка, зверски замученного интервентами, первого председателя сельского совета и первого Семенова свата, того сына называли — Трофим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло без малого двадцать лет. Много незваных гостей побывало за это время на советской земле. Иные из них уже добирались до самой Москвы. Но никто не минул участи шведов и участи немцев.



— Молодец, Семен! Молоти еще! Домолачивай!

Давно уже в том селе, где некогда стояла бедная хата Семена Котко, — большой и богатый колхоз, а заправляет тем колхозом Микола Ивасенко. И есть в том богатом и большом колхозе образцовая и знаменитая на весь Советский Союз свинарня, а заправляет той знаменитой свинарней супруга товарища Ивасенко — Ефросинья Федоровна, или попросту говоря — Фроська.

И лесочек недалеко от села стоит на своем месте. Остался до сих пор в том лесочке молодой дуб, под которым лежат славные кости Трофима Ременюка и друга его, матроса Василия Царева. Их имена заросли корой, и следа не осталось от гвоздя, которым когда-то была прибита к дубу матросская шапка. Но люди эти имена знают, поминая в песнях.

И молодой дуб блестит вырезными своими листьями над тихой могилой. Мы говорим — «молодой дуб». Он как был молодым, так молодым и остался. Потому что много времени надо дубу, чтоб постареть. И что такое для дуба — двадцать лет? А слава о героях и вовсе никогда не стареет.

И вот, ежегодно, весной, едва только на Спасской башне окончат играть куранты, на Красную площадь выезжает принимать первомайский парад народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Клим Ворошилов. На изящном коне золотистой масти объезжает он войско и здоровается с частями, неподвижно застывшими, точно вырубленными из серого гранита. Потом он слезает с коня, отдает ординарцам поводья и поднимается на левое крыло мавзолея.

Оттуда, в потрясающей тишине, раздается его сильный, отчетливый и неторопливый голос:

— Я, сын трудового народа...

И молодые бойцы повторяют за ним слова присяги — неторопливо, отчетливо и сильно:

— Я, сын трудового народа...

Семен Федорович Котко и жена его Софья Никаноровна стоят на правой трибуне у мавзолея. Став на носки, они всматриваются с напряжением в шеренгу молодых бойцов Пролетарской дивизии, чтобы увидеть среди них своего сына. Они специально для этого приехали на один день из Запорожья, где Семен Федорович заворачивает заводом алюминиевого комбината. Семен Федорович мало изменился, хотя потемнел, и в клочковатых бровях его блестит се-

дина. На нем кожаная фуражка, синее непромокаемое пальто, которое он надел, так как с утра собирался дождь. Непогода разгулялась, стало жарко, и Семен Федорович растегнул пальто. На лацкане пиджака виднеется орден Красного Знамени, а на локте висит желтая самшитовая палка, купленная в прошлом году в Сочи. Софья Никаноровна одета так, как в Запорожье одеваются все неслишком молодые жены директоров: она в маленькой фетровой шляпке и габардиновом пальто с кроличьим воротником под котик и с манжетами того же меха. Она тоже потолстела, и в волосах ее тоже нет-нет, да и блеснет седина. Возле глаз лежат добродушные сухие морщинки, но сами глаза все так же молоды, выпуклы и вишневы.

— Ой, Семен, — шепчет она скороговоркой, — честное слово, я вижу! Вон он, вон. Во второй шеренге четвертый слева. Накажи меня бог! Бачь! Еще рядом с ним один точно в таком же шлеме и точно в такой же гимнастерке, ну только совсем бледный блондин, а наш Трофим капитановый.

— Ей-богу, Соня, ты меня удивляешь. Как это можно в таком количестве бойцов увидеть одного человека? Не конфузь меня перед публикой. Смотри на парад и не открывай лучше рот. Ну и где ж, по-твоему, Трофим?

— Та вон же. Во второй шеренге, четвертый с краю.

— То не наш Трофим.

— А я тебе говорю, что то наш Трофим.

— Хорошо. Нехай будет наш Трофим, если тебе так угодно, — вежливо говорит Семен, напрягая скулы.

А по площади отрывистым, сильным вздохом катится:

— Я, сын трудового народа...

И вздох этот отдается всюду.

«Я, сын трудового народа...» гремят зеркальные плиты мавзолея, где на правом крыле в грубом пальто из солдатского сукна, во всей суровой и доброй своей простоте стоит, принимая присягу, — Сталин.

«Я, сын трудового народа...» говорят седые стены Кремля. «Я, сын трудового народа...» звенит бронза Минина и Пожарского. «Я, сын трудового народа...» поет потрясенный воздух...

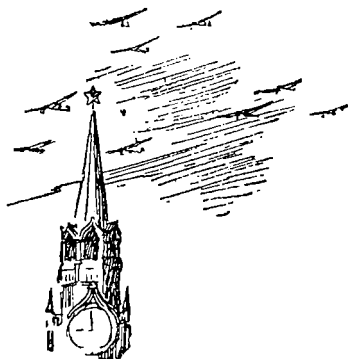
«...Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских

Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений со стороны всех врагов и в борьбе за Союз Советских Социалистических Республик, за дело социализма и братства народов не падить ни своих сил, ни самой жизни».

— Я — сын трудового народа!..

Сентябрь 1937 г.

Москва.



Цена 1р. 75к.